



БОРИС ЖИТКОВ

**РАССКАЗЫ
О
ЖИВОТНЫХ**



**ОГИЗ-ДЕТГИЗ
1935**









БОРИС ЖИТКОВ

**РАССКАЗЫ
О
ЖИВОТНЫХ**



РИСУНКИ А. БРЕЙ

О Г Н З • Д Е Т Г Н З • 1935

Для среднего и старшего возраста

*Редактор Е. КОВАЛЕНКО
Тех. редактор Е. ИУРКОВА*

*Сдано в производство 9/VIII 1934 г.
Подписано к печати 21/XI 1934 г.*

*Детиз № 174. Индекс Д-7.
Формат 72×93₁₆. 10¹/₂ печ. л.
(6,35 авт.). Уполномоченный Глав-
лита Б 40332. Зап. 118. 50000 экз.*

*Матрицировано в 1-й Образцовой
тип. треста «Полиграфгиза»,
Москва, Виллов, 28.*

*Отпечатано в 16 тип. треста
«Полиграфгиза», Трехпрудный, 9.*

Цена 1 р. 65 к. перепл. 1 р. 25 к.

ПРО СЛОНА

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были притти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Все думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то, что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — все заливается, заиграет. И слоны! Главное слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада прет!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода, — и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них черные люди в белых чалмах, — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силой,

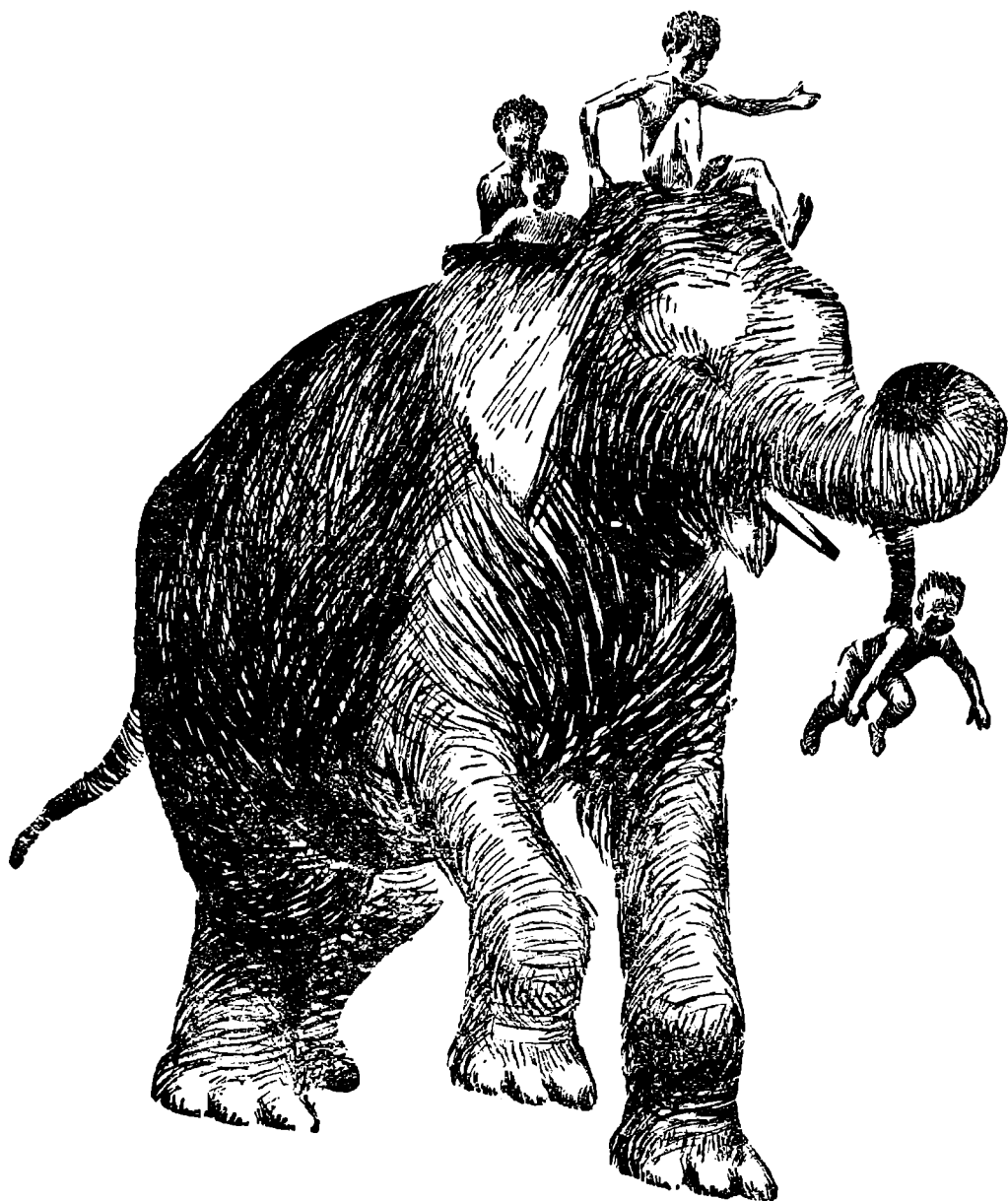
жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо: как будто я — не я, и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе, все бурлит, кипит, народ толчется, а мы — как оголтелые и не знаем, что смотреть, и не идем, а будто нас что пессет (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше — очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазами по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идешь и тень свою толчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят, — бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом — и готово.

А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, — кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу, а третий был маленький, лет четырех, должно быть, — на нем только рубашонка была коротенькая,



вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел, — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал.

Мы поровнялись, идем стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше.

„Вот, — думаю, — здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботом поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева и, если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет“.

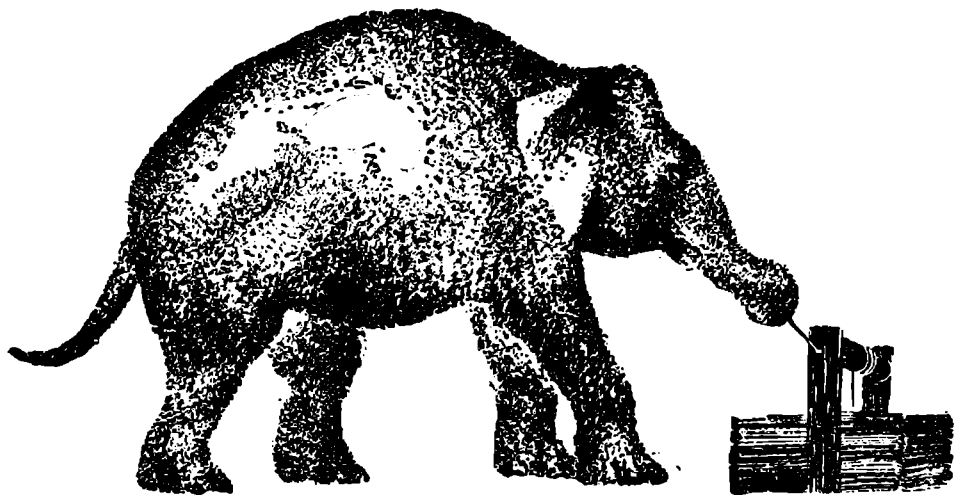
А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошел мимо нас; смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, — только ветки похрустывают, — перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький

совсем, видно, в роль вошел: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие и густые, и путаные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нашупал этого маленького, — он там, видно, обезьянкой уцепился, — достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то?

Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся по двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орет на слона, — слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца вырыты два столба, и между ними вьюшка; на ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим, слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит, как будто пустую, вытащил — целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь — не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора на хлибких столбиках навес был устроен — только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.



Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим — слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы; все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю — русские. А он и не знал, что такое русские.

— Не англичане?

— Нет, — говорю, — не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал; позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это, — он говорит, — обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не отойдет.

Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон

пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое — прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землей как дунет! Раз и еще, и еще. Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите, какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чешаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный.

А он хохочет.

— Ну, — говорит, — если бы я полтораста лет прожил, не тому еще выучился бы. А он, — показывает на слона, — моего деда нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет, — говорит, — ему полтораста лет, он в самой поре! Вон у меня слоненок есть, его сын, — двадцать лет ему, совсем ребенок. К сорока годам в силу только входит начинает. Вот погодите, придет слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха и с ней слоненок — с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребенок, шел.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел; слониха и слоненок — с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились. Все пребовали говорить — они по-своему, мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький

больше всех к нам пристаивал, — все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Иди лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот и как из кишки его поливают. Здорово так — только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть — больно уж быстрое течение — унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем, он даже внимания не обращает — все своего слоненка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струей — тот так и сел.

Хохочет — заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали, — он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул да в них.

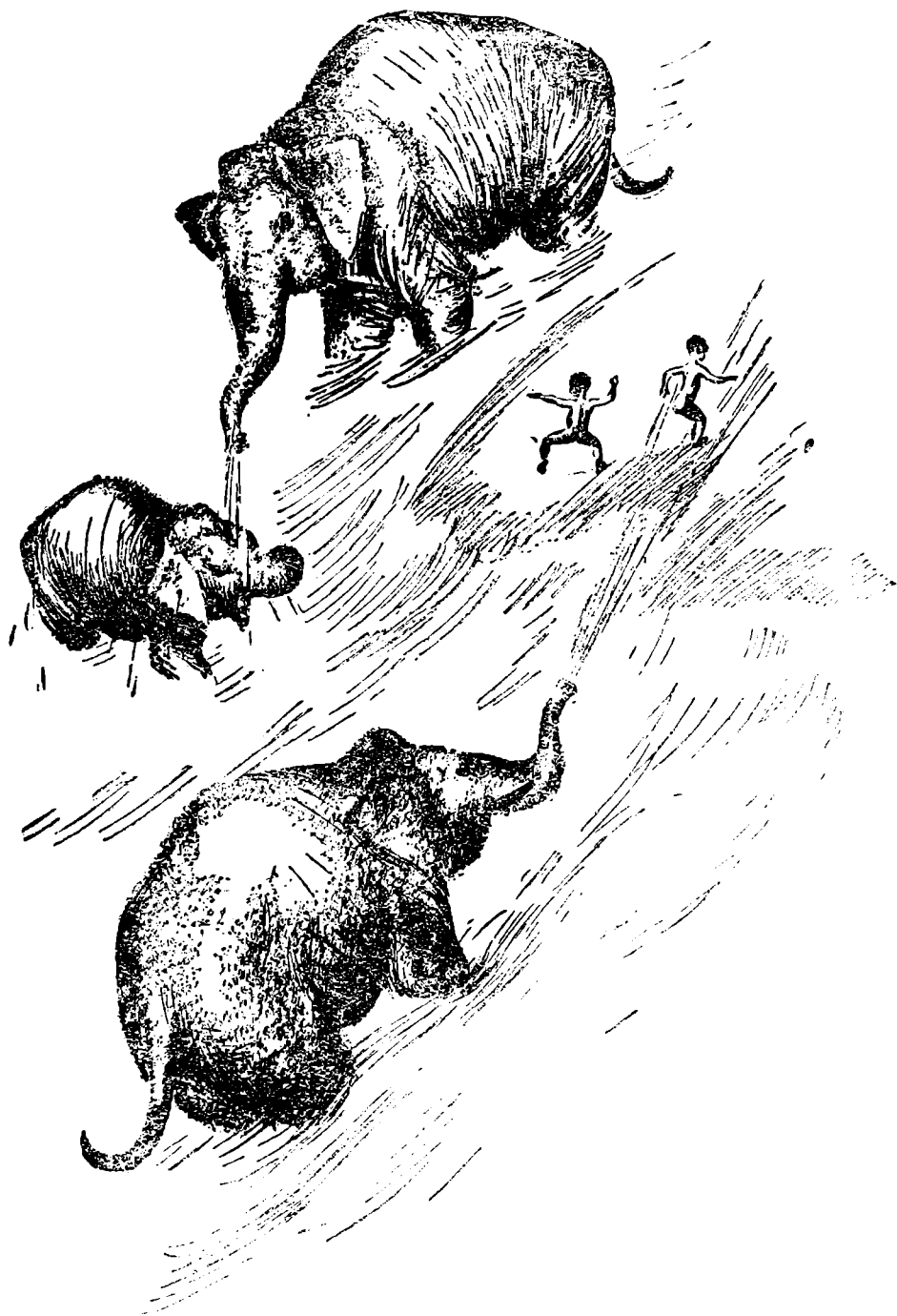
Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагроможден целый город тесаных бревен: штабеля стоят, каждый вышиной с избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик —



ножка на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот как тряпка болтается. Уши обгрызанные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтесанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переминается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

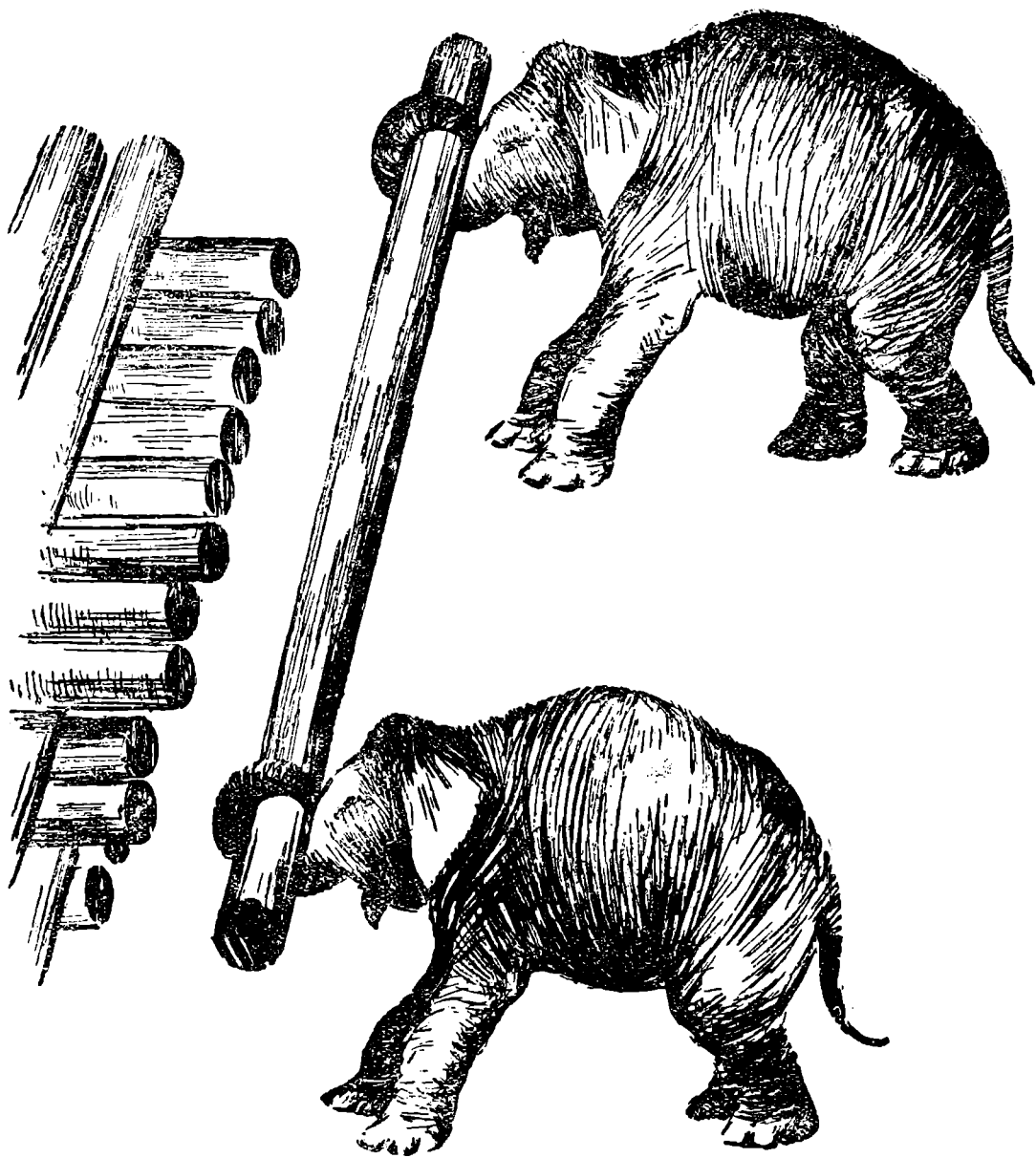
Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушел не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: „Надоело мне это, и не глядел бы“.

А из лесу идет уже третий слон с бревном.

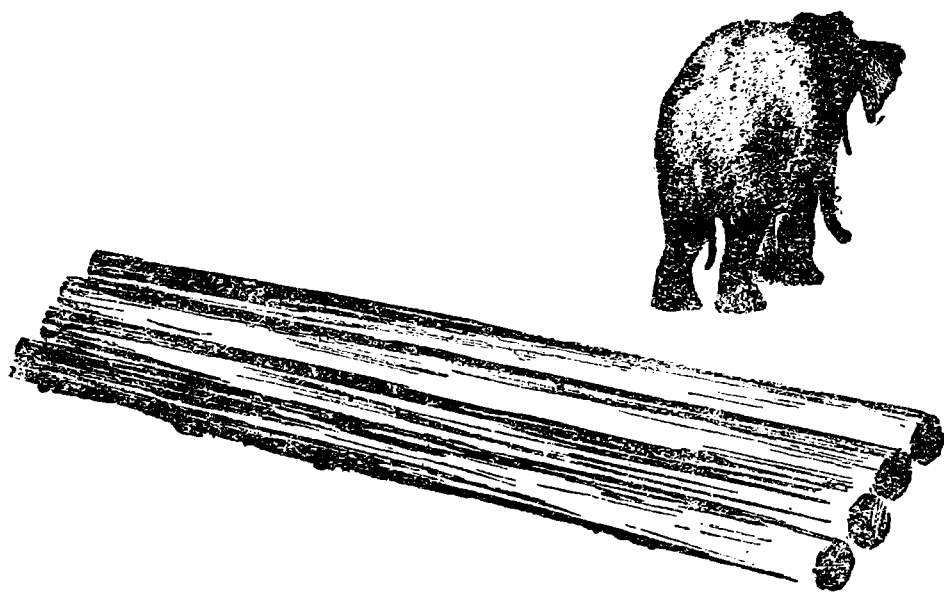
Мы туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги — два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, подвернет колена, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, камни летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, брeвнище на хоботе.



Их было восемь — всех слонов-носильщиков, — и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли.



ПРО ВОЛКА

ДИКИЙ ЗВЕРЬ

У меня был приятель охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: „Ишь хвастает! Дай загну похитрей чего-нибудь“, и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: „То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай“.

Прошло два года. Я и забыл про́ этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал: „Он волка, — говорит, — просил, так вот передайте“. А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: „Может быть, он ходит по комнате, как хочет,— на свободе?“

А трусить я стыдился. Набрал я воздуха в грудь и дернул в свою комнату. Я думал: „Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...“ Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглядел комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подпутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головатого щенка.

Я вот говорю — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец. Привез мне живого волка.

Я осторожно подошел, — волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть из зубов. Он на меня оскалился, и я увидал, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

„Ведь волки серые... А потом щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу“.

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и глядит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два

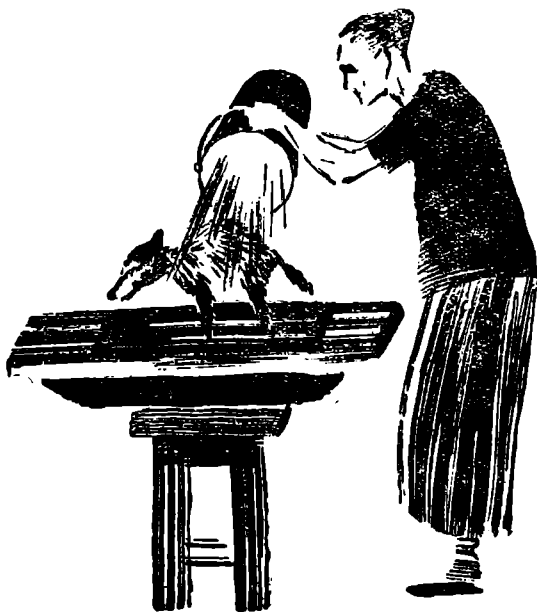
раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме подмышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.

В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смиренно стоял в корыте и лизал ей руки.



КАК Я УЧИЛ ВОЛКА „ТУБО“

Я решил, что сизмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зубищи уж какие во рту. А вырастет — держись тогда. Первое, думал я, надо научить его „тубо“. Это значит — „не тронь“. Чтоб как крикну „тубо“ так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — И дернул его назад. И вот тут он сразу как рывкнет на меня, голову повернул, зубами щелкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, — вот оно что значит волк-го...

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул „тубо“ и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плоску и взвизгнул, совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плоску.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! — И опять ударил кулаком. Волчонок отскочил от плоски и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он был обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул: „Тубо“. Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уж отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все варугали, что я пошел гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: „Им хорошо говорить: „Волченька, миленький да бедненький“, а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: „Гляди, что волчище надделал. Твой волк, देвай его куда хочешь“. Тогда все на меня будут валить. „Завел, скажут, зверя в доме, теперь и расхлебывай“. И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.



Я так и сделал: нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной дома смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завелся. Со зверями будет жить.

А я думал: „Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет“.

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка оцетинилась, оскалилась, как огрызнется:

— Рраф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал, наконец, ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. Дай, думаю,

я вас примирю. Я заставил Плишку лечь рядом с волчонком. Она, дрянь, все время подымала губу, показывала зубы и шопотом ворчала, — ей, видно, противно было лежать рядом с волчонком. А он пробовал ее нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела.

„Ну, — думаю, — как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает“. И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек



и с разбега сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел, она цап волчонка за ухо. Ну тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так лязг-

нул зубами — быстро, как молния, — что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натывался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчонка. Нет. Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

— Что это собачка какая безобразная? — И присела на корточки. — Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтоб в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь волчонок. Ах, бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать, — говорит Аннушка, — а только, знаете, говорится: сколь волка ни корми, он все в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки. Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадется к волку. Еще раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка. Оскалилась всем ртом, глазищи злые, и надвигается шаг за шагом.

„Ну, — думаю, — залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка“.

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык и лягнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на

ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил „тубо“. И теперь дело двинулось вперед: только я крикну „тубо“, волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

СОБАКИ СКАНДАЛЯТ

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные, и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так. Нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не ду-

мал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выкакивать из ворот, встревоженные, ошетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось: Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что,— сказал я Плишке,— наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было.

Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

ВЫРАСТАЕТ

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что в самом деле, и свету животное не видит.

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого „тубо“ скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его подмышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.

БОИ С МАНЕФОЙ

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть „тубо“, как Манефа зашипела, хвост венником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился уж настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу, — я боялся, чтоб не выпарапала глаза. Я крикнул: „тубо!“ и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка насакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, — оказался порядочный шрам на носу. Пшла кровь, и волчонок за-

лизывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

ОСОБОЙ ПОРОДЫ

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл.

Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и „овчарка особенной породы“. Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: „Волк во дворе“. Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. „Помилуйте, — скажет, — живешь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно“. Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал

в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, — как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.

УЗНАЛИ

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лужгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет, — говорю. — Она смирная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку „тубо“. Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут.

Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно, — говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— А ну, — говорят, — забожись.

— Ей-богу, — говорю, — настоящий.

— Ага, — говорят, — то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязывал ремнем к левой руке: в случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног — все равно не уйдет.

ПРОЗЕВАЛ

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакать.

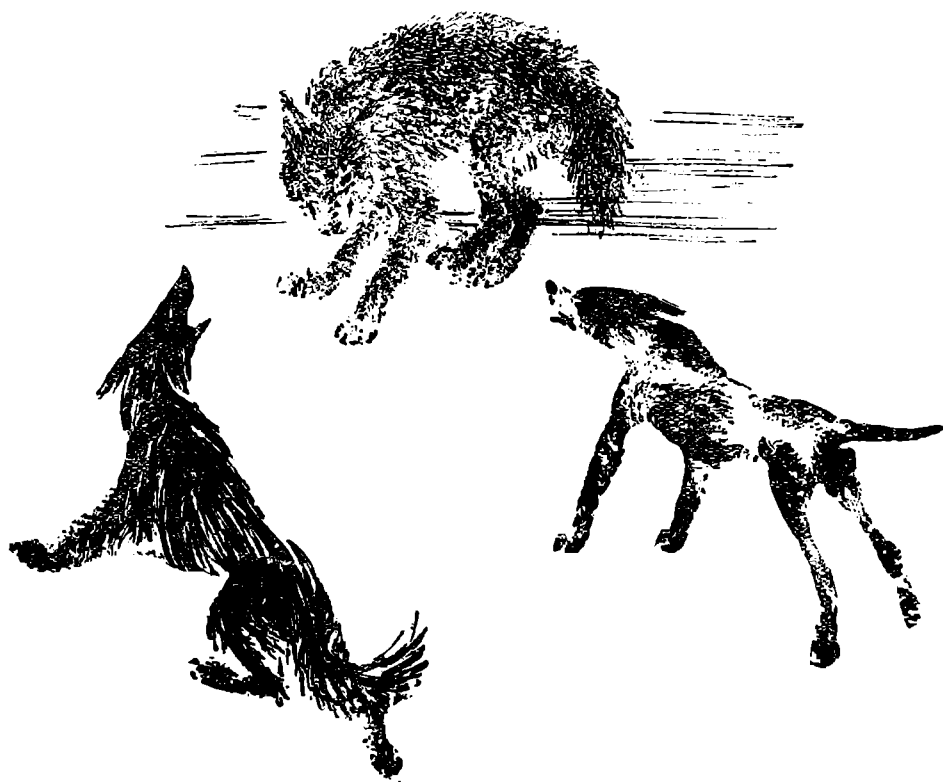
Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животица. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, — волк за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу — сзади собачий лай, рывканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две больших собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лягают, быстро, как выстрелы:

— Хляст! Хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.

Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволоком меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвется, я на спине барахтаюсь, но ошейника не отпускаю. Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.



— Пускайте, — кричит, — я уж взяла.

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал:

— Бешеная! Бешеная!

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

ВЕДА

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже, — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то. — И присела к нему, гладит. — Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю, — говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает. — Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. — И пристав просительно улыбнулся. — Ей-богу подарите. У меня в именин овцы, а стерегут их овчарки. Вот этакие. — И показал почти на метр от земли

Так вот от нашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. — И тут пристав нахмурился. — Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет, — сказал я. — Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав. — Продайте, чорт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам, — сказал я и пошел скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед. — Слышите: у-кра-ду.

Я махнул рукой и пошел еще скорей.

Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка, — сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насушилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол.

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной? — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, покусала, только это не моя.

И я пошел в ворота.

ИЗ ПЛЕНА

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побегал. На лестнице стояла Аннушка.



— Ой, бегите, — говорит, — скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел ослушаться: отвел и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошел через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городовых. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что, он твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городской побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади заевистели. Мы были уж за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевел дух и оглянулся: двое городских остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

СОВСЕМ КОНЕЦ

Я решил пересхать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость.

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы, — говорит, — в мое положение войдите: вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велют, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами но все-таки привык, и теперь в ошейнике, с намордником он был совсем как собака.

Все свободное время я ходил с волком, — мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дернулся, чтоб бежать в полицию, но Аннушка ухватила меня за рукав.

— Без дела пойдете. Увез, увез, окаянный, к себе. Сама видела, как на подводу поклали. Связали и на сено. А коней не удержать.

Я все-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узпал: все было, как сказала Аннушка.



ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил, — думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: „Вот это и есть „обезьянка“. Не таковский я.

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет, — говорит, — в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

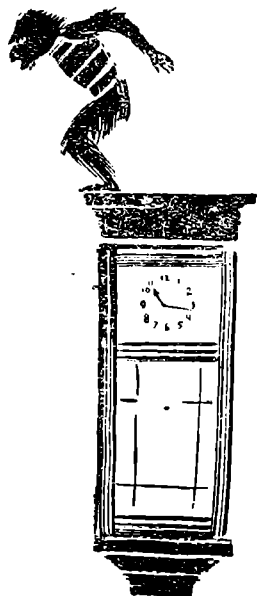
— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, стару-



шечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто чело-
вечьи руки в перчатках черных. На ней был
надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди, что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка за-
кричала: „Ай, ай!“ и в два прыжка вскочила
Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее
в шинель, за пазуху.

— Идем, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице,
несем такое чудо, и никто не знает, что у нас
за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кор-
мить.

— Все ест, все давай. Сладкое любит. Кон-
феты — беда. Дорвется — непременно обожрется. Чай любит жид-
кий и чтоб сладкий был. Ты ей в накладку. Два куса. В при-
куску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею,
миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил,
что и хвоста у ней нет.

— Ты, — говорю, — хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не
растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обо-
дом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще

ни его разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки ма-ме на голову; толкнулся ножами и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели, — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос зата-нули:

— Какая хорошенькая!

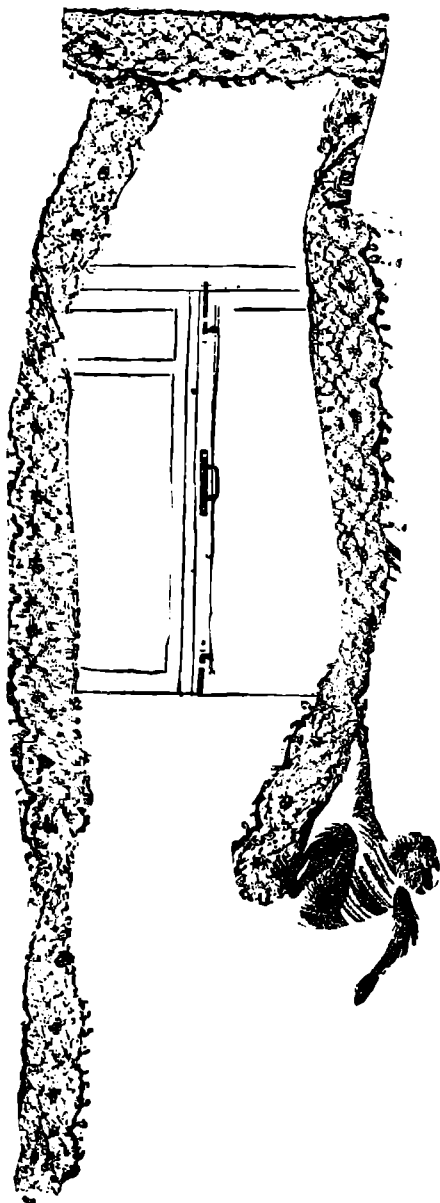
А мама все прическу прила-живала.

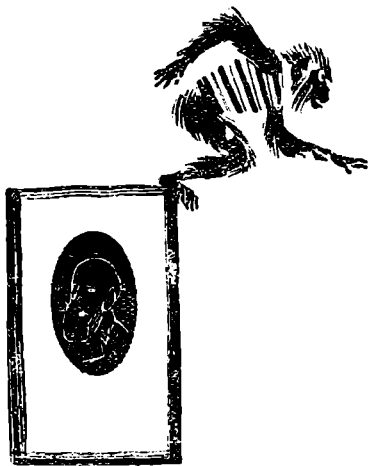
— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не гля-нул, — стал чесаться мelenько и часто черной лапочкой.





До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щеткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на

картину, картина покосилась, — я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и, наконец, загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и зашелкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пелонать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговики. Потом я поднес Яшку,

как он был, закутанного, к столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

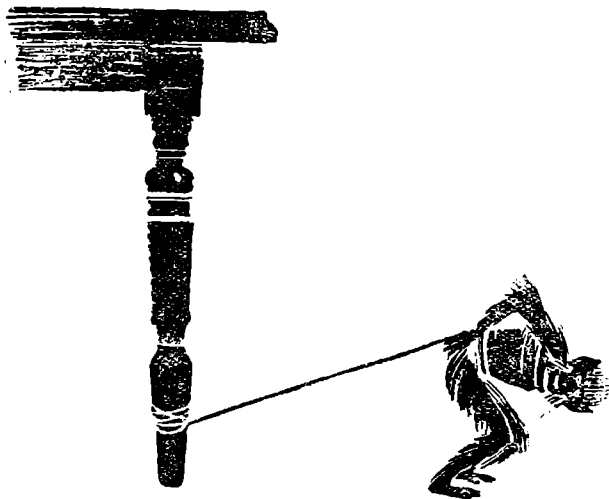
Я поцосил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные поготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дервет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалитя. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обе блянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади растегнуты. Это он растегнул жилет, оставил





его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Илепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замерзнет, бедный! И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеждо шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеждо. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что, казалось, летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и пу с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалялся сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как

старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, страхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошел — хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис,

как прикинулся. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец роздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи прямо из моего живота вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: „Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться“. Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет, — ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке; Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно, как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, нагребастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все простыло, тогда он только хватится, — поковыряет, наспех глотнет два куска.

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошелся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрадся и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз... — И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего. Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки — осторожно, как вор.

А доктор дальше:

— И представьте себе... — И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывает. А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему спили платице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слышал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то, оставив его вечером с лампой, он отвернет огонь.

ночным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал все завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошел, пошел! — говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ноготками, зубками щелкает.



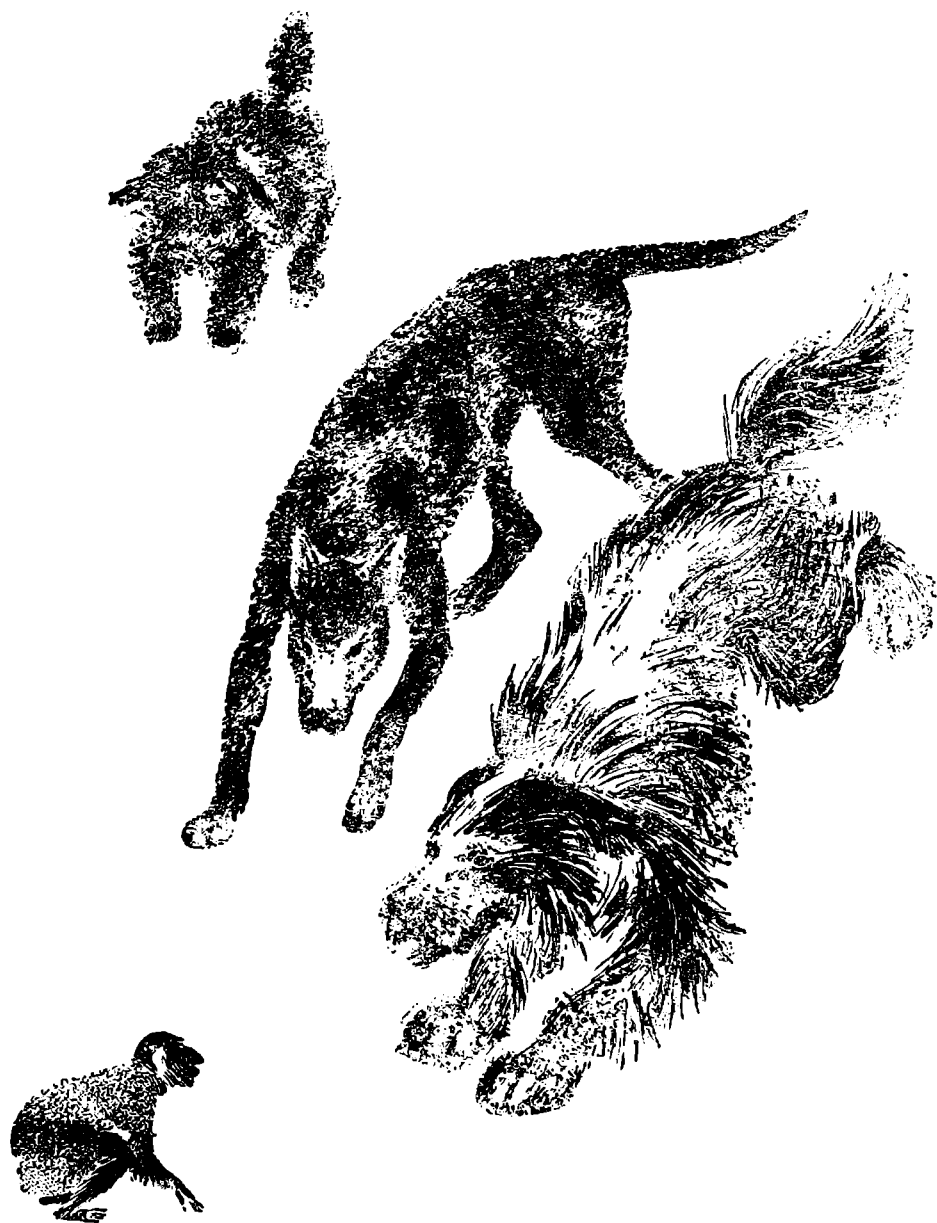
Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка, чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостя наша схватилась за голову и в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

„Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку“.

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой каменный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног сбьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платьице, чтобы он не простудился, посадил Яшку к себе на плечо и пошел. Только я двери открыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, припе-





лился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ошестинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, шиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раз а три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок, как ни в чем не бывало. Вот, мол, я, — мне нипочем!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину, — лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются.

— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нашупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щелкает. Бывало, что и орехи нашупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Пичей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше, — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет, и так уверенно,

будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: „Йау, йау“, каким-то страшным звериным голосом,—я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал, наконец, товарища, отозвал в сторону и сказал: — Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

ПУДЯ

Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были еще маленькие.

Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин. Страшно важный. Особенно шуба. Мы подглядывали в щелку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там желтый пушистый мех и по меху все хвостики, хвостики. Черноватенькие хвостики. Как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери:

— Пожалуйста, прошу.

Важный — весь в черном и сапоги начищены. Прошел, и двери заперли.

Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу. Щупаем хвостики. В это время приходит Яшка, соседний мальчишка, рыжий. Как был: в валенках вперся и в башлыке.

— Вы что делаете?

Таня держит хвостик и спрашивает тихо:

— А как по-твоему: растет так из меха хвостик или потом приделано?

А Рыжий орет, как во дворе:

— А Чего? Возьми да попробуй.

Таня говорит:

— Тише, дурак, там один важный пришел.

Рыжий не понимает:

— А что такое? Говорить нельзя? Я не ругаюсь.

С валенок снег не сбил и следит мокрым.

— Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу... Вот он — так сейчас, — и Рыжий кивнул мне и мигнул лихо.

Я сказал:

— Ну да, баба, — и дернул за хвостик. Не очень сильно потянул: только начал. А хвостик — пак, и оторвался.

Танька ахнула и руки сложила. А Рыжий стал кричать:

— Оторвал! Оторвал!

Я стал совать скорей этот хвостик назад в мех: думал, как-нибудь да пристанет. Он упал и лег на пол. Такой пуши-стенный лежит. Я схватил его, и мы все побежали к нам в комнату. Танька говорит:

— Я пойду к маме, реветь буду, — ничего, может, и не будет.

Я говорю:

— Дура, не смей. Не говори. Никому не смей.

Рыжий смеется, проклятый. Я сую хвостик ему в руку:

— Возьми, возьми, ты же говорил...

Он руку отдернул:

— Что ж, что говорил! А рвал-то не я! Мне какое дело? Подтер варежкой нос и в двери.

Я Таньке говорю:

— Не смей реветь, не смей, а то сейчас спрашивать начнут, и все пропало.

Она говорит и вот-вот заревет:

— Пойдем, посмотрим, может быть, незаметно. Вдруг незаметно?

Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот все ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато, а тут пропуск, пусто. Видно, сразу видно, что нехватает.

Я вдруг говорю:

— Я знаю: приклеим.

А клей у папы на письменном столе, и если будешь братъ, то непременно спросят: зачем? А потом там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя.

Танька говорит:

— Запрячем, лучше запрячем, только скорей. По-дальше. В игрушки.

У Таньки были куклы, кукольные кровати. Нет, туда нельзя. И я засунул хвостик в поломанный паровоз, в середину.

Мы взялись за кукол и очень примерно играли в гости, как будто бы на нас все время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем.

В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уж они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько:

— Сейчас, сейчас шубу подам.

Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим.

Таня дрожит и бормочет за куклу:

— Здравствуйте. Как вы поживаете? Сколько вам лет? Как вы поживаете? Сколько вам лет?

Вдруг дверь к нам открывается: отец распахнул.

— А вот это, — говорит, — мои сорванцы.



Важный стоит в дверях, черная борода круглая, мелким барашком, и улыбается толстым лицом:

— А, молодое поколение!

Ну, как все говорят.

А за ним стоит Фроська и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой. Танька сделала кривой реверанс, а я что было силы шаркнул ножкой.

— Играете? — сказал важный и вступил в комнату. Присел на корточки, взял куклу. И я вижу, в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила и показывает. И это пустое место без хвостика так и светит. Важный взял куклу и спрашивает:

— А эту барышню как же зовут?

Мы оба крикнули в один голос:

— Варя!

Важный засмеялся:

— Дружно живете.

И видит вдруг у Таньки слезы на глазах.

— Ничего, ничего, — говорит, — я не испорчу.

И скорей подал пальчиками куклу. Поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошел прямо к шубе, но смотрел на отца и не глядя стал попадать в рукава. Запахнул шубу; Фроська подсовывает глубокие калоши.

Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень веселый вошел к нам и сказал смеясь:

— Зачем же конем таким?

И представил, как я шаркнул.

В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то все переглядывались через стол,

и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвел пальцем на скатерти, как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку.

Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал ему хвост в кулак, чтоб из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала.

На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же хвостик. И стало страшно: а ну как важный только для важности в гостях и не глядит даже на шубу, а дома-то, небось, каждый хвостик переглаживает? Даже, наверно, наизусть знает, сколько их счетом. Гладит и считает: раз, два, три, четыре... Вскочил с постели, подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло в самое ухо:

— Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлет сюда человека с письмом. А то сам приедет.

Танька вскочила и шепчет:

— Чего ж там считать, и так видно: вот такая пустота. — И обвела пальцем в воздухе большой круг.

Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали: кто это, не за хвостиком ли?

Несколько дней мы так боялись.

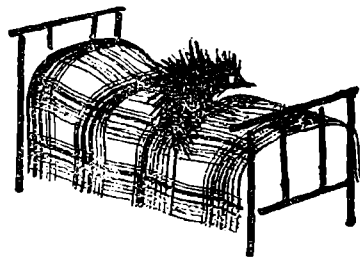
А потом я говорю Таньке:

— Давай посмотрим.

Как раз никого в квартире не было, кроме Фроськи. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенький.

Таня положила его к себе на колени и гладит.

— Пудя какой, — говорит. — Это собачка кукольная.



И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом.

Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. Ну, замечательно!

Танька закричала:

— Брысь, брысь, сейчас! Не место собакам на диване валяться! — И скинула Пудю. А я его Варьке на кровать.

А Танька:

— Кыш, кыш! Вон, Пудька! Блох напустишь...

Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали: совсем девочка с собачкой. Я сейчас же сделал Пуде из тесемочки ошейник, и получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на веревочку и к Варькиной руке. И Варьку водили по полу гулять с собачкой.

Танька кричала:

— Пудька, тубо!

Я сказал, что склею из бумажек Пуде намордничек.

У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку, Танька намостила тряпок, и туда посадили Пудю, как в будку. Когда папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки. Забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка Рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате — играли в цирк. А раз, когда Рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать:

— Пудя! Пудька! — И хлопал себя по валенку.

Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит:

— Да не тебя, дурак, а Пудю. Пудька! Пудька!

Папа нахмурился:

— Какой еще Пудька там? — И осматривается.

Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил. А он мигнул и язык высунул. Ушел все-таки.



Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придет — мы в своей комнате запремся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь в прилоку, чтобы завязывать веревкой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здорово держит. Потом Танька запиралась, а я ломился: никак не открыть. Как на замке. Радовались, ждали — пусть только Рыжий придет.

Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки, — тогда совсем будет живой.

А Рыжий на другой же день пришел. Танька прибежала в комнату и шопотом кричит:

— Пришел, пришел!

Мы вдвоем дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на веревочку.

Вот он идет... Толкнулся... Ага! Не тут-то было. Он опять.

— Эй, пустите, чего вы?

Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь:

— Отворяй, Танька!

И так стал орать, что пришла мама.

— Что у вас тут такое?

Рыжий говорит:

— Не пускают, черти.

— А коли черти, — говорит мама, — так зачем же ты к чертям ломишься?

— А мне и не их вовсе надо, — говорит Рыжий; — я Пудю хочу посмотреть.

— Что? — мама спрашивает. — Пудю? Какого такого?

Я стал скорей отматывать веревку и раскрыл дверь.



— Ничего, — кричу, — мама, это мы так играем. Мы в Пудю играем. У нас игра, мама, такая...

— Так орать-то на весь дом зачем? — И ушла.

Рыжий говорит:

— А, вы, дьяволы, вот как? Запираться? А я вот сейчас пойду всем расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришел к отцу в гости. Может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки. Воры!

— А кто говорил: „Дерни, дерни“?

— Никто ничего и не говорил вовсе, а если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выпцпаете.

Танька чуть не ревет.

— Тише, — говорит, — Яша, тише.

— Чего тише, — кричит Рыжий, — чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу.

Я схватил его за рукав.

— Яша, — говорю, — я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь.

— Всякий хлам мне суешь, — заворчал Рыжий.

Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз.

— Колесо, — говорит, — проволокой, замотал и тычешь мне.

Посопел, посопел.

— С вагоном, — говорит, — возьму, а так — на чорта мне этот лом.

Я ему в бумагу замотал и паровоз и вагон, и он сейчас же ушел через кухню, а в дверях обернулся и крикнул:

— Все равно скажу, хвостодеры!

Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит:



— Чтоб ему теплей было.

Я сказал Таньке, что Рыжий все равно обещал сказать. И мы все думали: как нам сделать? И вот что выдумали:

Самое лучшее попасть бы в такое время, когда папа будет веселый, — после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек, на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смелым вывертом. И петь что-нибудь смешное при этом. Как-нибудь:

Пудю несем.
Пахнем гусем.

И еще там что-нибудь.

Все засмеются, а мы еще больше запоем и к папе. Папа: „Что это вы, дураки?“ и засмеется. А тут мы как-нибудь криволю рассказав, и все сойдет. Папе, наверно, даже жалко будет отбирать от нас Пудю.

Или вот еще: на Ребика положим и вывезем. И тоже смешное будем петь. Рыжий придет ябедничать, а все уж и без него знают, и ничего не было. Запремся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и все.

Я еще в кровати думал, что я устрою Яшке Рыжему.

Утром мы все пили чай. Вдруг вбегает Ребик, рычит и что-то в зубах треплет.

Папа бросился к нему:

— Опять что-нибудь! Тубо, тубо! Дай сюда!

А я сразу понял — что, и в животе похолодело.

Папа держит замусоленный хвостик и, нахмурясь, говорит:

— Что это? Откуда такое?

Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить.

— Тубо!—крикнул папа и толкнул Ребика ногой. Поднесли к окну, и вдруг мама говорит:

— Это хвостик Это от шубы.

Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет:

— Это чорт знает что такое!..

Я вздрогнул. А Танька всхлипнула — она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику.

— Эту собаку убить надо. Это дьявол какой-то.

Ребик под диван забился.

— Раз уж пришлось за штаны платить... Ах ты дрянная эдакая! Теперь шубы, за шубы взялся.

И папа вытянул за ошейник Ребика из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что сейчас будут бить. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне:

— Принеси ремень! Моментально!

Я бросился со стула, совался по комнатам.

— Моментально!—заорал отец на всю квартиру злым голосом.—Да свойними, болван. Живо!

Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнем Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик — он на полу валялся — и бьет, бьет:

— Шубы рвать. Шубы рвать. Я те дам шубы рвать.

Я даже не слышал, что еще там папа говорил — так орал Ребик, будто с него с живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрет сейчас. Фроська в дверях стояла, ахала.

Мама только вскрикивала:

— Оставь! Убьешь! Николай, убьешь! — Но сунуться боялась.

— Вербку!—крикнул папа.— Афросинья, вербку!

— Не надо, не надо,—говорит Фроська.



Папа как крикнет:

— Моментально!

Фроська бросилась и принесла бельевую веревку.

Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика веревкой. Но папа потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привя-

зал его на шнурок от штор и перекинул через оконную ручку.

— Пусть видит, дрянь, за что драли. Не кормить, не отвязывать.

Папа был весь красный и запыхался.

— Эту дрянь нельзя в доме держать. Собачникам отдам сегодня же. — И пошел мыть руки. Глянул на часы.

— А, чорт! Как я опоздал! — И побежал в прихожую.

Пудю Ребик всего заслюнявил, он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперек живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если б отец тогда хорошенько разглядел, так увидал бы все и догадался бы, что все это не без нас. Да и теперь все равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик, начнут его чистить — вдруг нитки.

— Откуда нитки? А уж Ребика все равно побили...

Я сказал Таньке, чтоб украла у мамы маленькие ногтяные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Все-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтоб ничего не было заметно.

Ребик подвывал, подрагивал и все лизал задние лапы. Мы с Танькой сели к нему на пол и все его ласкали. Танька приговаривает:

— Ребинька, маленький, били тебя. Бедная моя собака. Стала реветь. И я потом заревел.

— Отдадут,— говорю,— собачникам. Папа сказал, что отдаст. На живодерню.

И представилось, как придет собачник, накиннет Ребичко петлю на шею и потянет. Как ни упирайся, все равно потянет. А потом так на петле с размаху—брык в фургон со всей силы. А там на живодерне будут резать. Для чего-то там живых режут, мне говорили.

Потом мы у Фроськи выпросили мяса, Танька под юбкой мимо мамы пронесла,—и скормили Ребику. А зачем ему есть? Ведь так только, все равно на живодерню.

И мы с Танькой говорили:

— Мы за тебя просить будем, мы на коленки станем и будем плакать, чтоб папа не отдавал.

И это все потому, что Танька выдумала к Варьке подложить Пудю. А Варькина кровать стояла на полу, в углу, на бумажном коврикe. Вот Ребик и нанюхал Пудю.

Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Танька заревела:

— Он чует, чует!

А я стал ей про живодерню рассказывать. Я сам не знал, а так прямо говорю:

— Двое держат, а один режет.—И показал на Ребике рукой, как режут.

Танька залилась.

— Я скажу, я скажу, что мы. Скажем. Хоть на коленки станем, а скажем.

И все ревет, ревет... Я сказал:

— Скажем, скажем. Только чтоб Ребика не отдавали. Не дадим.

И мы так схватились за Ребика, что он взвизгнул.

А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками.

— Не сидите на грязном полу. И не возитесь с собакой — блох напустит.

Мы встали и уселись на подоконнике над Ребичкой и все смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придет, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таньку послали мыть заплаканную морду. Она скоро: раз-два, и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Ребика ногой, а Танька не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустили. Только на нашем окне оставили: на шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть

Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилося. Я говорю Таньке:

— Как войдет, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе, смотри. А не я один. Говори: „Папа, прости Ребика, это мы сделали“.

Пока я ее учил, уж слышу голоса в прихожей, очень веселые, и сейчас же выходит важный, а за ним папа.

Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при важном — и вдруг на колени? И глянул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника и сразу бац на коленки и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся. Я соскочил, но никак не мог стать на колени. Все глядят, папа брови поднял.

Танька одним духом, скороговоркой:

— Папа, прости Ребика, это мы сделали.

И я тогда скорей сказал за ней:

— Это мы сделали.

Все подошли:

— Что, что такое?

А папа улыбается, будто не знает даже, в чем дело.

Танька все на коленках и говорит скоро-скоро:

— Папочка, миленький, Ребичка миленького, пожалуйста, миленький, миленького Ребичка... Не надо резать.

Папа взял ее подмышки:

— Встань, встань, дурашка.

А Танька уже ревет — страшная рёва — и говорит важному:

— Это мы у вас хвостик оторвали, а не Ребик вовсе.

Важный засмеялся и оглядывается себе за спину:

— Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали.

— Да видите ли, в чем дело, — говорит папа, и все очень весело, как при гостях: — собака вдруг притаскивает вот это, — и показывает на Пудю. И стал рассказывать.

Я говорю:

— Это мы, мы.

— Это они собаку выгораживают, — говорит мама.

— Ах, м^ыые! — говорит важный и поклонился к Таньке.

Я говорю:

— Вот ей-богу мы. Я оторвал. Сам.

Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу:

— Зачем врешь и еще божишься?

— Я даже хвостик ему устроил, я сейчас покажу. Я там нитками замотал.

Сунулся к окну и назад: я вспомнил, что нитки я обрезал.

Отец:

— Покажи, покажи. Моментально!

Важный тоже сделал серьезное лицо. Как хорошо было, все бы прошло. Теперь из-за ниток этих...

— Яшка, — говорю я, — Яшка Рыжий видел, — и чуть не плачу.
А папа крикнул:

— Без всяких Яшек, пожалуйста. Достать. Моментально!
И показал пальцем на Пудю.

Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину. Руки за спину.

Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел. А папа кричал:

— Моментально! — и держал палец. Таньку мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом.

Я снял Пудю и подал папе.

— Простите, — вдруг обернулся важный, — да от моей ли еще шубы? — И стал вертеть в пальцах Пудю.

— Позвольте, это что же? Что тут за тесемочки?

— Намордничек! — крикнула Танька из маминой юбки.

— Ну вот и ладно! — крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку подмышки и стал кружить по полу:

— Тра-бам-бам! Трум-бум-бум!

— Ну давайте обедать, — сказала мама.

Уж сколько тут реву было...

— Отвяжи собаку, — сказал папа.

Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику.

— Пиль!

Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню.

— Умой поди свою физию, — сказала мама Таньке, и все сели обедать.

Важный Пудю подарил нам. И он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек. А Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу.

Пусть знает.

БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА

I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в черных пятнах — Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: „Рябка, где Володя?“ Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володя ушел. Воздух носом тынет и всегда верно. Бывало придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает.

Обернешься к нему и скажешь сердито:

— Плохи наши дела, Рябка! Вот как... — Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит больше, понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, потянет цепь и обхватит меня лапами. Да так крепко — не пускает. Не хочет долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках — запутается другой и попадется. И дома все крадут, что ни положи.

Вот я и пошел в город. Достану, думаю, себе веселую кошечку, она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришел в город. По всем дворам ходил — ни одной кошки. Ну, нигде.

И стал у людей спрашивать:

— Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

— До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

— Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и нà! Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком: нажрался, накрал и вечером на теплой плите растянулся. И вдруг такая беда! Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе... А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки не достал.

III

Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя.

А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей поры большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завелся?

Я сорвал хворостинку и в нору. А оттуда как зашипит!

Я назад попятился. Фу ты! Да это кошка!

Так вот куда кошки из города переехали!

Я стал звать:

— Кис-кис! Кисанька! — И просунул руку в нору. А кисанька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдернул.

Ну тебя, какая ты злая!

Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи поры, кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напряжилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама ни с места. Опять на меня уставилась. Я обошел стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерках я ее принял за кролика и хотел уже стрелять.

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой.

Вдруг слышу — лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому



большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она несколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидела меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь.



Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с кошкой.

Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

VI

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шел дождь. Я смотрю из окна — лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

— Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошел и заглянул в будку. Через весь под важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождем.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась.

Я видал, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выпавшись, уходила по своим делам.

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу — будто ребенок плачет. Я выскочил, гляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю — в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки. Обменял у ней на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рыбка на цепи издали сближался.

Против дома была яма с пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила — я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку.

Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на изводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросило на берег ракушки.

Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.



Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь ошетинился, напрягся.



Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом за ружьем. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.

Рябчик долго не мог успокоиться: все ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что: она сидела на солнышке и важно мыла мордочку.

Я сказал Володе:

— Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибѣгут собаки — она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

— А Рябчик в будку залезет и через дырку отгрызется от всякой собаки. А я в дом запрусь. Нечего бояться.

Я ушел в город.



IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

— Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка не стала убегать. У ней под стеной в углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами — шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются все к Мурке, к Мурке!

— А ты чего смотрел?

— Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружье и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом, прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мурки ключья одни останутся. Я уж там бил по чем попало. Вот смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь?

— Ну, а Мурка-то, Мурка?

— А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает. Они в будке.

Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито поглядывал на меня. Видно, боялся, что я помешаю — унесу Мурку

X

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга. Володька выскочил, кричит:

— Собаки, собаки!

Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слышали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвалась на цепи, дергался с разбега, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были не опасные.

XI

Я заметил, что Мурка потолстела, — у ней скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володи́ей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали в море.

Далеко, за пятьдесят верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегают. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку.

Сейчас же накормили ее рыбой доотвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдет и что надо для нее сделать нору,—это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стересть невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

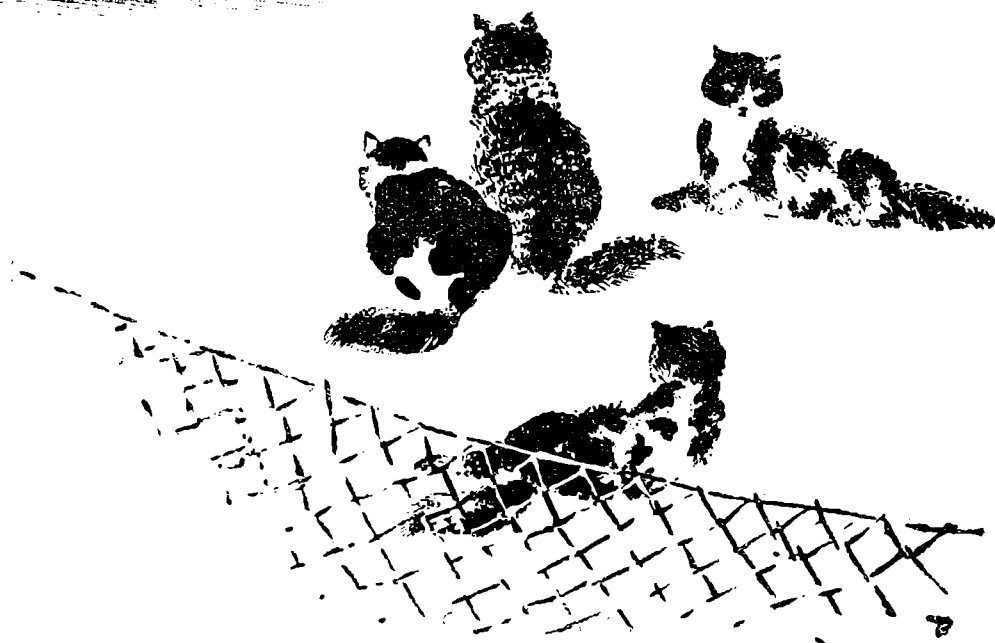
Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюде. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков—крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями. Пугают. А если ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать ее не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, ллскает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек.

Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну ногами, а от головы вода расступается.

Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок—вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж



совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

XIII

Рыбаки не могли похвалиться Муркой.

— Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и все им в рот подай. Воп, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь, развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

— Вот только из-за мамыши и терпим. Выгнать бы их надо.

Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

XIV

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наесться рыбьих головок.

— Ишь, мамышины сынки! — сказал Володька и бросил в них песком. — Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок.

Лодыри!

МЕТЕЛЬ

Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клепки рассыпались, отец ругал меня, чертыхался: досадно ему, а у меня рук нехватает. Вдруг входит учительша Марья Петровна — свезти ее в Ульяновку: пять верст и дорога хорошая, катаная, — дело на святках было.

Я оглянулся, смотрю на Марью Петровну, а отец крикнул:

— Да держи ты! Рот разинул!

Мать говорит:

— Присядьте.

А Марья Петровна строго спрашивает:

— Вы мне прямо скажите, повезете или нет?

Отец в бороду говорит:

— Некому у нас везти. — И стал клепки ругать еще крепче прежнего.

Марья Петровна повернулась — и в двери. Мать накинула платок и, в чем была, за ней.

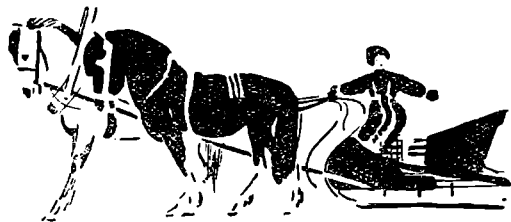
Я тоже подумал, что стыдно. Вся деревня знает, что мы новую пару прикупили, двух кобылок, и что санки у нас есть городские.

Мать вернулась сердитая.

— Иди, запрягай сейчас, живым духом. Я держать буду. — Оттолкнула меня и села у кадушки.

Вижу, отец молчит. Я вскочил и стал натягивать валенки. Живой рукой запряг. Торопился, а то вдруг отец передумает? Запряг я новых кобылок в городские санки, сена навалил в ноги, сел на облучок бочком, форсисто, и заскрипел санками по улице прямо к школе.

День солнечный был, больно на снег глядеть — так блестит; парой еду, и на правой кобылке бубенчики звенят. Только



ко кнутовищем в передок стукну — эх, как подымут вскачь! — молодые, держи только.

Чортом я подкатил к учительше под окно. Постучал в окно, кричу:

— Подано, Марья Петровна!

Сам около саней рукавицами хлопаю — рукавицы бабкины, и руки здоровые какутся — как у большого.

Марья Петровна кричит в двери — из дверей пар, и она — как в облаке:

— Иди, погрейся, — кричит, — пока мы оденемся.

— Ничего, — говорю, — мы так, нам в привычку.

Топаю около саней, шлею поправляю, посвистываю. А что? Пятнадцать лет, мужик уже скоро вполне.

Вот вышли они: Марья Петровна и Митька. Она своего Митьку завязала — глаз не видать. Весь в платках, в башлыке, чужая шуба до полу, еле идет, путается и дороги не видит. Учительша его за руку тянет. А ему тринадцатый год. Летом мы с ним играли, подрались; я ему, помню, наkostenял. Ему стыдно, что его такой тютей укутали, разгребает башлык

варежкой, а я нарочно ему ноги в сено заправляю, прикрываю армяком.

— Так теплее будет.

Вскочил на облучок, ноги в сторону, обернулся:

— Трогать прикажете? — И зазвенел по дороге. Скрипят полозья — тугой снег, морозный.

Пять верст до Ульяновки мигом мы доехали. Марья Петровна Митьке все говорила:

— Да не болтай ты, надует, простудишься.

А я на кобыл покрикиваю.

В Ульяновке они у тамошней учительши гостили. А я к дядьке пошел.

Еще солнце не зашло, присылает за мной — едем.

Ульяновка, надо сказать, вся в ложбине. А кругом степь; на сто верст одни поля.

Дядька глянул в дверь и говорит:

— Вон, гляди, воронье под кручу попряталось, вон черное на самом снегу уместилось — гляди, кабы в степи-то не задуло. Уж ехать — так валяй во-всю, авось проскочишь.

— Ладно, — говорю, — пять верст. Счастливо! — И отмахнул шапкой.

Пока запрягал, пока учительша Митьку кутала, смотрю — сереть стало. Только я тронул, а дядька навстречу идет, полупшубок в опашку.

— Не ехать бы, — говорит, — на ночь-то! Остались бы до утра.

А я стал кричать нарочно, чтобы учительша не услышала, что дядька говорит:

— Хорошо, я матке поклонюсь. Ладно! Спасибо!

И стегнул лошадей, чтобы скорее от него подальше.

Выбрались мы из низинки. Вот она, ровная степь, и дует

поземка, по грудь лошадям метет снег. И на минуту подумалось мне: „Ай вернуться?“ И сейчас как толкнул кто: мужик бы не струсил; вот оно, скажут, с мальчишкой-то ездить, завез и — ночуй. Пять верст всего. Я подхлестнул лошадей и крикнул весело:

— А ну, не спи! Шевелися!

Слушаю, как лошади топочут: дробно бьют, — не замело, значит, дороги. А уж глазом не видать, где дорога: метет нивом, да и небо замутилось. Подхлестнул я лихо, а у самого в груди екнуло: не было б греха.

А тут Марья Петровна сзади говорит из платка:

— Может быть, вернемся, Колька? Ты смотри!

— Чего, — говорю, — там смотреть, пять верст всего. Вы сидите и не тревожьтесь. — И оправил ей армяк на коленях.

Тут как раз от Ульяновки в версте выселки, пять домов на дороге. И вот я туда, а тут сугроб. Намело горой. Я хотел свернуть, вижу — поздно. Ворочать буду — дышло сломаю. И я погнал напролом. Сам соскочил, по пояс в снегу, ухаю на лошадей грубым голосом. Они станут, отдышатся и опять рвут вперед.

Летит снег; как в реке, барахтаются мои кобылки. Собака затыкала на мой крик. Баба выглянула, — кацавейка на голове. Постояла — и в избу. Гляжу: мужики идут не торопясь по снегу. Досадно мне стало. Выходит, что я сам не могу. Я толкал что есть мочи сани, нахлестывал лошадей, спешил стронуть до мужиков, но лошади стали. Мужики подошли.

— Стой, не гони, дурак, выпрягать надо.

И старик с ними. Хлибкий старичок. Выпрягли лошадей. Учителюшу и Митьку на руках вынесли. Вывернули сани — вчетвером-то эка штука!

— Ночуй, — говорит, — здесь, метет в поле.

— Ладно, — говорю, — учительша пусть как знает, а я еду, некогда мне возжаться. — И стал запрягать. Руки мерзнут, ремни мерзлые — колодой стоят.

— Еду я — и край! — говорю.

А старик:

— Добром тебе говорю — смотри и помни: звал я тебя, но мой грех будет, коли что.

Я сел на козлы.

— Ну, что, — кричу, — едете? — И взял вожжи.

Марья Петровна села. Я тронул и оглянулся. Старик стоял среди дороги и крикнул мне:

— Вернися!

Я еле через ветер услышал. Без охоты лошади тронули. Ой, вернуться!

— А, черт! Пошла! — И ляпнул я кнутом по лошадям. Поскакали! Я оглянулся, и уже не видно ни домов, ни заборов — белой мутию заволокло сзади.

Я скакал напропалую вперед, и вот лошади стали уже мягко ступать, и я увидел, что загружает нога. Я придержал и с облучка ткнул кнутовищем в снег.

— Что? Что? — всполохнулась Марья Петровна. — Сбились? Этого я и боялась.

— Чего там бояться? Вот она дорога.

А кнут до половины залез в снег.

— А ну, задремали! — И дернул вожжи. Лошади пошли осторожной рысцой.

И вот вижу я, что валит уж снег с неба, сверху, несет его ветер, кружит, как будто того и ждала метель, чтоб отъехал я от выселков. Вот как назло заманила и поймала. И сразу в меня холод вошел: пропали! Поймала и знает, где мы, и заметет, совсем насмерть заметет, и спешит, и вост, и торожится.

— Что? Что? — кричит учительша.

А я уже не отвечаю: чего там что? Не видишь, мол, что? Заманила метель в ловушку. Да я сам же, дурак, скакал прямо сюда. Конец теперь!

И вспомнился старичок, как он на дороге стоял, на ветру его мотало.

— Вернись!

И вдруг Митька взвыл, ревом взвыл, каким-то страшным голосом, не своим:

— Назад, назад! Ой, назад! Не хочу! Не надо! Назад!

И стал червем виться в своих намотках. Мать его держит, он бьется, вырывается и ревет, ревет, как на кладбище, рвет на себе башлык.

Учительша ему:

— Митя! Митя! Да в самом же деле, да что же это? Митечка!

И кричит мне:

— Поворачивай, поворачивай!

У меня руки ходуном пошли. Я задергал вожжами. Ветер сечет, слезит глаза, забивает снегом. Мне от слез горько и от этого реву Митькиного, а она еще в голос молится. А куда его поворачивать? Всюду одно: снег и снег. Дыбом его подняло и метет и крутит до самого неба.

И вдруг учительша нагнулась ко мне, слышу, в самое ухо кричит:

— Пусти лошадей, пусть они сами вывезут, пусть они сами.

Я бросил вожжи. Лошади шагом пошли.

А учительша причитает:

— Лошадушки! Милые! Милые лошадушки! Да что же это? Господи!

Я отвернулся от ветра, глянул: они с Митькой от снега белые-белые, как из снега вылеплены. Посмотрел — и я такой же. И представилось мне, что занесет нас, заметет, и потом найдут нас троих замерзшими, так и сидим в санях съездившись. И не дай бог я живой останусь — вот оно, заморозил, погубил. И опять старик причудился: „Звал я тебя, не мой грех, коли что“. А теперь уж все равно никуда не приехать.

И вдруг я увидел, что наехали мы на колею. Глянул я — от наших саней, от подрезных, колея. И увидел я, что кружат лошади. Да куда они вывезут? Неделя они у нас, ездил батька раз всего в волость за карточками. Я вырвал клоч сена, свил жгутом, слез, втоптал в снег. И вот опять наехали мы на колею, и вот он, мой жгут, торчит, и замести не успело; тут мы на месте крутимся. И понял я вдруг, что можно сто верст в этой метели ехать, ехать, и никуда не приедешь, все равно как не стало на свете ничего, только снег да санки наши.

— Ну, что? Ну, что? — спрашивает учительша.

— Кружат, — говорю, — никуда не илут, не знают.

И она заплакала. И вот тут меня ударило: что я наделал! Погубил, погубил, как душегуб. И захотелось слезть и бежать, бежать, пусть я замерзну, пусть заметет с головой, чорт со мной совсем.

И вдруг Марья Петровна говорит:

— Ничего, мы тут почевать будем. Авось как-нибудь. Уж вместе, коли что...

И спокойно так говорит. И вот тут как что в меня вошло. Остановил я лошадей. Слез.

— Полезайте, — говорю, — вы, Марья Петровна, с Митькой вниз, я вас укрою. Полезайте, дело говорю. — И стал сено раз-

Гребать. Как будто и не я стал, все твердо так у меня пошло.

Смотрю, она слушает, лезет и Митьку туда упрятала. Скорчились они там. Я их сеном, армяком подоткнул кругом, и сейчас же снегом замело их сверху, только я знаю, что они там и тепло им, как будто дети мои, а я им отец. И как будто в ум я пришел. Дует ветер мне в ухо, перетянул я шанку на сторону и вспомнил: ведь в левое ухо мне дуло, как я из выселков ехал. Дуть ему теперь в правое, и выведу я назад; не больше версты я отъехал, не может быть, чтобы больше; здесь они должны, заборы эти, быть. Я погнал лошадей и пошел рядом. Иду правым ухом к ветру. Слышу, кричит что-то Марья Петровна из саней, еле слышать, как за версту голос. Я подошел:

— Вам чего? Подоткнуть?

— Не отходи от саней, Коленька, — говорит, — не отходи, милый, потом залезешь, погреешься. Гукай на лошадей, чтобы я слышала.

— Ладно, — говорю, — не беспокойтесь.

„Ничего, — думаю, — живые там у меня“.

Вижу, лошади стали: по самое брюхо в снегу.

Я пошел вперед.

Сам все на сани оглядываюсь — не потерять бы. Лошади головы подняли, глядят на меня бочком, присматриваются. Вижу, там снегу больше да больше. Я тихонько стал сворачивать по ветру. Думаю: сугроб это и я объеду. И только я снова на выселки сверну — опять намет. И вижу: не пробиться к выселкам. А если влево за ветром ехать, то должна быть Емельянка, и туда семь верст. И вот пошел я за ветром и вижу: меньше снегу стало, — это мы на хребтину выбрались — сдуло ветром снег.

А я все так: пройду вперед и вернусь к лошадям. Веду под уздцы. Пройду, сколько мне сани видны, и опять к лошадям, веду их. А как иду рядом с лошастью, она на меня теплом дышит, отдувается. И уж опять нельзя идти по ветру — снегу наметы впереди; прошел я — и по грудь мне. Только я уж знаю, что мы хребтиной идем, а вот тут овраг, а через овраг Емельянка. Лошадь мне через плечо голову положила и так держит, не пускает. Я все в уме говорю: „Тут, тут Емельянка“, и нарочно себе кнутом показываю, — чтобы вернее было, что тут.

Иду я рядом с лошастью и вдруг мне показалось, что мы уже век идем, и нигде мы, и никакой Емельянки нет, и совсем мы не там, и что крутим неведомо где. А тут Марья Петровна высунулась.

— Где, где ты, Коля, Коленька? Что тебя не слышать? Голос подавай! Иди погрейся, я побуду.

— Что? Что? — кричу я. — Сидите, ничего мне.

А она машет чем-то.

— Надень, надень башлык, Николай!

Мне даже и не показалось чудно тогда, что она меня Николаем назвала. Это с Митьки башлык.

И опять ударило меня: „Ведь не доедем до Емельянки! Погубитель я ваш!“

Я не хотел башлыка брать, мне надо первому замерзнуть. Пусть я замерзну, а их живыми найдут.

А она кричит:

— Берп, а то брошу!

И вижу, что бросит.

Я взял, обмотался. Отдам, как замерзать буду. И решил повернуть на Емельянку, попробовать. Теперь она уж чуть-сзади должна быть. Сунулся и залез в снег, как в воду

Вдруг стало мне холодно, всего тряссти стало, прямо бить меня стало, не могу ничего, думаю, раздергает меня по ключкам этой тряской. Вот, думаю, как оно замерзают. И кто знал, что так мне пропасть придется? И очень так просто, и хоть просто, все равно назад ходу нет. Я пошел в другой бок. Все на санки оглядываюсь, а лошади на меня смотрят. Вижу, меньше тут снегу; стал ногой пробовать. И вдруг пошла, пошла нога ниже... и весь я провалился, и лечу, ссовываюсь вглубь — и тьма. И я уже стою на чем-то, и тихо-тихо, только чуть слышно, как шуршит метель над головой. Как в могилу попал.

Я пощупал — узко и острый камень вокруг. И понял, что я в колодец провалился. Роят у нас люди колодцы в степи по зароку. Узкие, как труба, и кругом камнем выкладывают, чтобы не завалились.

Меня все трясло, все разрывало холодом, и я решил, что все пропало, и пусть я здесь замерзну, пусть меня снегом завалит. Заплачу и помру тут, а они как-нибудь, может, и доживут до утра..

Скорчился и сижу. Не знаю, сколько я сидел так. И перестало меня бить холодом, стало тепло мне в яме... И вдруг хватился я! Так и привиделось, как они там в саях, и заметет их снегом — и лошадей и санки, и там Митька и Марья Петровна. Вылезти, вылезти! И стал я карабкаться по камням вверх, ноги в распор, руками скребусь, как таракан. Вылез с последним духом и лег спиной на снег. Воет метель, пеной снег летит.

Я вскочил, и ничего нет — нет саяей. Я пробежал — нет и нет. Потерял, и теперь все пропало, и я один, и лепит, бьет снегом. Злой еще метель взмылась, за два шага не видать.



Я стал орать всем голосом, без перерыву; стою в снегу по колено и все ору:

— Гей! Го! Ага! — Выкричу весь голос и лягу на снег, пусть завалит и — конец.

Только перевел дух и тут над самым ухом слышу:

— Ау, Николай!

Я прямо затрясся: чудится это мне... И я пуще прежнего с перепугу заорал:

— Го-го!

И тут увидел: сани, лошади стоят, снегом облеплены, и Марья Петровна, стоит белая, мутная, и треплет ей подол ветром. Я сразу опомнился.

— Полезайте, — говорю, — едем.

— Не уходи ты, — кричит, — не надо! Лезь в сани как-нибудь. — И сама, вижу, еле стоит на ветру.

— Залезайте, едем. Я знаю, близко мы.

Она стоит.

— Полезай, — говорю я, — там и Митьке теплей будет, а я в ходу, я не замерзну. — И толкаю ее в сани.

Пошла. Я опять тронул. И стало мне казаться, что верно близко и вот сейчас сейчас, приедем куда-нибудь. Гляжу в метель и вижу: колокольни высокие вот тут, сейчас, сквозь снег, перед нами, высокие, белые. Все церкви, церкви, и звон будто слышу, и вдруг вижу, впереди далеко человек идет. И баллык остряком торчит.

Я стал кричать:

— Дядька! Дядька! Гей, дядька!

Марья Петровна из саней высунулась.

— Дядька! — Я остановил лошадей и к нему навстречу. А это тут в двух шагах столбик на меже, и остро сверху затесан. А он мне далеко показался.

Я позвал лошадей, и они пошли ко мне, как собаки.

Стал я у этого столба, и чего-то мне показалось, будто я куда приехал. Прислонился к лошади, и слышно мне, как она мелкой дрожью бьется. Я пошел, погладил ей морду и надумал: дам сена. Вырвал из саней клочок и стал с рук совать лошадям. Они протянулись вперед, и я увидал, как дрожат ноги у молодой: устала. Выставит ножку вперед, и трясется у ней в коленке. И я все сую, сую им сено; набрал в полу, держу, чтобы ветром не рвало. Кончится у них сила, и тогда все пропадет. Я их все кормил и гладил. Достал я два калача, что дядька дал. Они мерзлые, каменные. Я держу руками, а лошадь ухватит зубами и отламывает, и вижу, сердится, что я хлибка держу.

Постояли мы.

Оглянулся я на сани — замело их сбоку, и уж через верх снегом перекатывает.

Я только взял лошадь под уздцы — двинули обе дружно, и я не сказал ничего. Я иду между ними, держусь за дышло, и идем мы втроем. Тихонько идем. Я не гоню — пусть как могут, только бы шли. Иду и уж ничего не думаю, только знаю, что втроем: я да кобылки, слушаю, как отдуваются. Уж не оглядываюсь на сани и спросить боюсь.

И вдруг стена передо мной, чуть-чуть дышлом не вперлись. И враз стали мы все трое...

Обомлел я. Не чудится ли?

Ткнул кнутовищем:

— Забор!



Ударил валенком — забор, доски!

Как вспыхнуло что во мне.

Я к саням:

— Марья Петровна! Приехали!

— Куда?!

Митька из саней выкатился, запутался, стал на четырех,
орет за матерью:

— Куда, куда?

— А чорт его знает! Приехали!

У Д А В

I

Началось с того, что играл я в клубе. И все как-то выходило, что проигрывал. Все свое жалованье проигрывал. Отдам жене, а потом по трешке выпрашиваю.

Жена служила в тресте. На машинке печатала. Я жене наврал, сказал, что шубу купил, а я ее в рассрочку взял, а деньги проиграл.

И вот я раз прямо со службы пошел в клуб. Играю — и везет, везет. Вот, думаю, когда на меня это счастье наехало; не упускай, гни во-всю! Только успеваю бумажки по карманам распахивать: так уж комком и сую. Вот когда королем домой вернусь! Жена мучается, дома до света на машинке печатает. Вот вздохнет, голубушка! Уж и не знаю, что ей сделаю. Сережке, сынишке, велосипед, дураку, куплю. Настоящий! Вот будет радоваться! Наташеньке, дочке, шапочку, — она все хотела, — вязаную, зелененькую... Да что шапочку! Да и придумать не знаю, что: она диктует матери до хрипоты, бедная, чтоб машинку эту проклятую перекричать.

Ну, думаю, поставлю еще пятьдесят рублей и баста. Хлоп! — пobiли мою карту. Вот чорт! Я, чтоб вернуть, вывалил сотню —

патаскал из карманов мятых червонцев. Опять бита! Мне бы бросить, не злиться, а я все жду, что снова мое счастье найдет меня. И пошло и пошло.

Я весь в поту и уж последние бумажки таскал из карманов, трешки какие-то. И тут холод меня прямо прошиб: что вот только что все они, милые мои, счастливые могли б быть, уж были, можно сказать, и вдруг... И вот уж нет ничего. Я паранал со злостью пустой карман, скреб ногтями.

Тут я вспомнил, что у меня с собой есть пятьсот рублей. Казенные, правда. Завтра сдать надо. Я взял червонец. Уж коли повернется счастье — так ведь с рублишка начинали и с тысячами от стола уходили в полчаса каких-нибудь. И я все рвал и рвал с пачки по червонцу, и уж все равно стало. Я и считать перестал — который это идет. Поставил потом целиком сотню, чтобы уже сразу. И глаза закрыл, чтобы не видеть. Потом побежал к швейцару.

— Голубчик! Дорогой! У вас шуба в залог пусть будет, дайте рубль. Последний раз, рублик.

А он головой мотает и не глядит.

— Шли бы спать, — говорит, — коли карта не идет.

Я оделся, побежал домой, к жене, как сумасшедший. Уж в прихожей слышал, как эта машинка стучает, прямо гвозди это в мое сердце вбивает. А Наташка хриплым голосом надрывается, диктует.

Час, час всего назад разве таким бы псом побитым я к вам пришел? И не знали, бедные.

Я вошел в столовую. Жена даже не оглянулась, только крикнула на Наташку, чтоб дальше, дальше!

Сереежка, дурак, через стол из пушки в солдат деревянных целит горохом. А я вошел в своей шубе, как был, и говорю — голос срывается, хриплый.

— Надя, — говорю жене, — Надя! Я знаю, не говори! Умоляю — я в отчаянии. Спаси!

Она сразу бросила печатать, глядит на меня, раскрыв глаза; дети уставились, ждут.

— Надя, — говорю, — я знаю, денег нет, дай брошку бабушкину. В залог, в залог, выкупим. Я в отчаянии...

Она вдруг вскочила, все лицо пошло красными пятнами.

— А я, а я? А мы все? — И бьет, бьет руки, не жалея, кулачком об стул. — Мы не в отчаянии? Мы все должны сносить? У самой слезы на глазах.

Я шапку прижал к груди, все у меня внутри рвется.

— Надя, — говорю, — милая...

А она вдруг как закричит:

— Вон! Вон! — И показывает на дверь, — отмахнула рукой во всю ширь.

Дети вздрогнули. Я смотрю, у Сережки губы кривятся. А жена кричит:

— Что вы на детей смотрите? Вы их губите! Вы им не нужны! Наклонилась к Наташке и кричит:

— Говори, говори, нужен он вам? — И глядит на нее, жмет глазами.

Я шагнул к дочке, к Наташеньке. А она опустила голову, не глядит, и дрожит у ней бумага в руке.

— Говори сейчас же! — кричит жена. — Да или нет? Говори!

Наташа чуть глаза на нее подняла и вдруг, смотрю, чуть-чуть головкой покачала, едва заметно — нет!

— Наташа, — говорю я, — ты что же?

А жена:

— Вон! Вон! Довольно! И дети вас гонят! Вон!

Я вышел, и щелкнул за мной французский замок. Запер он от меня семью мою, детей моих.

Было еще совсем рано, часов десять вечера. И вот я остался на улице, мне некуда идти. И я растратил пятьсот казенных рублей. И куда я пойду, кому скажу, кто пожалест?

Хотел бежать к товарищу моему, может быть, он как-нибудь... Вместе учились ведь. Да вспомнил: взял у него пятьдесят рублей, он из жалованья, из последних мне дал. Обещал я через неделю принести — три месяца уж тому. Как на глаза показаться?

Я все шел скорей и скорей, прямо бежал почти, и толкал прохожих. Стало рукам холодно. Я запустил руки в карманы и вдруг в правом кармане нащупал мерзлыми пальцами — деньги! Мелочь какая-то. Я сразу стал, подбежал к фонарю и давай считать. Все карманы в шубе обшарил — набралось 78 копеек. В клубе меньше рубля ставить нельзя! Я все шарил, еще бы найти 22 всего копейки. Зашел в подворотню и все карманы вытряс — нет больше ни копейки. И я поплелся по улице. Шарил глазами — вдруг знакомый встретится: выпрошу 22 копейки. И вдруг вижу здание: все освещено, у подъезда извозчики черной кучей стоят, афиши саженные. Стоп! Да это цирк. Пойду в цирк, может встречу кого, займу. Рубль даже можно занять.

Я купил на галерку билет за 40 копеек. Я уж не смотрел на представление, а шарил глазами по рядам, по лицам, искал знакомого. Сейчас я еще человек, а завтра — завтра я растратчик, и меня будут искать. Еще ночь впереди — ведь можно отыграться. Только б рубль, рубль! И хоть бы один знакомый! Я бегаю глазами по людям, у меня все бьется внутри, а люди смеются — вот-то смешное клоун делает на арене.

Я тоже стал смотреть на арену. Дрессировщик показывал маленькую беленькую лошадку. Он говорил по-французски и очень забавно, но никто не понимал и не смеялся. Я хорошо

знаю по-французски. И вдруг я подумал: наймусь в цирк, буду переводить, что говорит француз, буду эту лошадку чистить — миленькая такая лошадка, кругленькая. Назовусь не своим именем и забьюсь, как таракан в шелку. Смотрю, француз вывел пятерых собак, и тут я только услышал, что музыка играет, а то так от тоски сердце колотилось, что я и музыки не слышал.

Объявили антракт, вся публика поднялась с мест. Я побежал в конюшню. Веселая публика смотрит лошадей; лошади блестят, как лакированные. Тут же стоят конюхи, — на пробор причесанные, в синих куртках, в блестящих ботфортах. Спрошу, нельзя ли конюхом поступить. Я подошел к одному:

Скажите, — говорю, — как у вас работы много?

Он смотрит на мою шубу, почтительно говорит:

— Хватает, гражданин, но мы не обижаемся.

И не могу никак спросить: можно ли мне поступить? Засмеется только. Однако я сказал:

— А вам тут человека еще не требуется?

— Это вы в контору, пожалуйста. — И отвернулся к лошади, стал что-то поправлять.

В контору пойти? Совсем пропасть. Вид у меня — настоящий бухгалтер, и вдруг — в конюхи. Что такое? Засмеют, а то прямо в район позвонят по телефону. Что же мне делать? Но тут народ повалил на места, и я снова залез на галерку.

Когда кончилось представление, я вырвал из записной книжки листок, написал по-французски:

„Господин Голуа (этого француз звали Голуа), очень прошу вас прийти в буфет, мне нужно передать вам несколько слов“.



И подписался Петров. А фамилия моя Никонов. Дал я эту бумажку служителю, чтобы сейчас же передал, и жду в буфете.

Француз пришел, как был на арене, — в желтых ботфортах с большими отворотами, в зеленой венгерке, подмазан, усики подкручены и реденький проборчик, как селедочка с луком.

Француз шаркнул.

— Честь имею...

И я начал говорить, что я восхищен его искусством. Француз вежливо улыбается, а глаза насторожились.

Я ляпнул:

— Хочу поступить к вам конюхом.

Он совсем глаза вытаращил и рот раскрыл. Потом, вижу, начинает хмуриться, и уже никакой улыбки.

И я сказал скорей:

— То есть я так восхищен вашим искусством, что готов служить даже конюхом при таком великом артисте.

Француз заулыбался и стал поспешно благодарить меня за комплименты и сейчас же повернул к двери.

В буфете уже все убрали и запирали шкафы.

Я выбежал на улицу. Завтра будет известно, что кассир Никонов скрылся с пятьюстами рублями и что к поискам приняты меры. И дома прочтут в газетах. А Наташку в школе будут спрашивать:

„Это не твой папа?“

Я стоял на морозе и думал. И вдруг мне пришла в голову мысль.

II

Я решил, что именно в темноте, где не видно моей шубы проклятой, не видно моего бухгалтерского лица, именно в темноте и надо просить, умолять, требовать. Голос, голос мой

будет один. А я чувствовал, что если я сейчас заговорю, то голос будет отчаянный, как у человека, который тонет. И в темноте легче, все можно говорить... даже на колени упасть. Пусть только выйдет кто-нибудь из циркачей. Я стану на колени, буду за полы хватать. Ведь мне все равно теперь. И я подбежал к задним дверям цирка, откуда выходят артисты.

Я ходил по пустой панели мимо дверей, и у меня дух забился от ожидания. Дверь хлопнула. Кто-то вышел и быстро засеменял по панели. Я не успел за ним броситься. Нет! Я брошусь к девятому, который выйдет, кто бы он ни был. Я перешел на другую сторону переулка и стал ждать. Люди выходили по-двое, по-трое, весело говорили между собой. Я считал. Следующий — девятый. Я весь дрожал. Я подошел к самым дверям цирка и стал. Нет, никого нет. Господи, неужели я всех пропустил? Надо было не ждать, догнать первого... Я хотел уже бежать, но теперь где я их найду? В это время дверь наотмашь отворилась, и вышли оттуда сразу гурьбой пять человек. Они говорили громко, крепко, на весь переулок. И я слышу:

— Он мне лопочет по-своему и тычет вниз: мажь, значит, копыта, а я каждый вечер...

У меня сердце забилося: конюхи, конюхи! Но сразу броситься к ним я не мог. Я решил, что пойду за ними. Разделится же они когда-нибудь, вот я и подбегу к одному — к одному — с одним легче. И я пошел за ними, глаз с них не спускал, чтоб не потерять в толпе.

Вдруг они свернули влево через улицу. Тут трамвай; они перебежали; трамвай закрыл их от меня, а когда он прошел, конюхов на той стороне не ока алось. Я чуть не заплакал. Я метался из стороны в сторону и вдруг вижу — пивная, и дверная штора наполовину уже спущена. А вдруг они там? И нырнул под штору. В пивной было почти пусто, и вон, вон

они, все пять человек, садятся за столик. Я сел за соседний. Человек им подал пива и сказал:

— Только по одной, граждане, и закрывать надо, время позднее.

Я знал, что у меня осталось 38 копеек. Я спросил бутылку пива.

Как же начать? Я боялся, что они наспех выпьют пиво и марш. Штору спустили на дверях, и только и остались в пивной, что конюхи да я.

И вот я слышу один, самый старший, говорит не спеша:

— Да, родные мои, приходит ко мне падчерица моя — вся в синяках. Пу — вся, вот как конь в яблоках. Кто же это тебя, спрашиваю, милая ты моя? Да опять, говорит, муж. И плачет. Чего ж, говорю, он тебя уродует? Зачем, говорит, я косая, обидно ему. А она, верно, косенькая у нас. Не такая, говорю я, уж ты косая, чтоб так бить. Живи, говорю, у меня, и чорт с ним. Твоя, говорю, мать рьябая, а я души в ней не чаю. Ты, говорю, наплюй.

Я собрал голос и говорю.

— Вы хорошо... как поступили. — Заикаюсь, голос срывается.

А конюх потянулся ко мне и ласково спрашивает:

— Вы что сказали, товарищ? Не слышать.

Я встал, подошел и сказал:

— Мне очень нравится, как вы поступили. Извините, что я вмешался.

И чувствую, что у меня слезы на глазах. Все конюхи на меня смотрят. А старший вдруг внимательно мне в глаза глянул и говорит:

— Садитесь к нам, гражданин, веселее вам будет. — И вижу, раздвигает приятелей.

Я схватил свою бутылку и пересел к ним. Все замолчали и на меня глядят. И тут я вдруг как сорвался, как с горы покатился.

— Вот видите,— говорю я,—ей есть куда пойти, а мне некуда.—И чувствую, как слезы у меня закапали и текут по усам, по бороде катятся. И я стал рассказывать, как я проигрался, как меня дети из дому выгнали, как жена дома убивается над работой. И говорю, как лаю—душат горло слезы.

— А вы выпейте, выпейте, гражданин милый,— говорит старый конюх и наливает в мой стакан.

Я глотнул пива,—легче стало. И все им рассказал. Одно-го только не сказал, что я растратчик и что меня завтра искать будут.

— Вот,— говорю,— говорил я этому французу, а как просить станешь? Я в жизни не просил, не кланялся. Да в таком виде...

— Да,— говорит старший,—вид, можно по-старому сказать, барин вполне.

Я боялся, что надо мной смеяться станут, и готов был и это стерпеть, но никто даже не улыбнулся. Один только сказал:

— А другую какую работу, по своей части или...

Старший перебил:

— Видишь, человек не мальчик и не пьяный, значит уж есть что, зачем в конюхи просится.

Хлѣпнул меня по колену и говорит:

— Ну ладно, голубок, подумаем. Ты утрись. Дай-ка сюда парочку!— крикнул он официанту

Официант огрызнулся:

— Из-за парочки вашей на штраф налетишь — выметайтесь, граждане,— время.

— Давай полдюжину! — крикнул конюх и пошел к хозяину и чуть мне головой мотнул. Я встал за ним. Он мне в ухо шепчет:

— Первое дело — надо сейчас ребятам поставить. Что у тебя есть? Часы есть?

— Черные, — говорю, — стальные.

— Даешь!

Я живо снял часы и отдал конюху. А он ушел шептаться с хозяином за перегородку.

Смотрю, волокут дюжину пива и две воблы на закуску. А у меня все внутри трясется: а ну как все это только шарлатанство одно, чтоб мои часы пропить и поиздеваться надо мной? Но я старался верить конюху, и от этого мне теплей было.

— Только поторавливайтесь, граждане, — говорит хозяин.

Все налили, стучают о мою кружку, чокаются и все одно и то же говорят:

— Ну, счастливо!

Мы вышли из пивной черным ходом. Я все держался ближе к старому конюху. Его звали Осип. Ну, думаю, сейчас скажут „спасибо“ и кто куда, а меня оставят на тротуаре. Так и жду. Был первый час ночи, народ бойко ходил по улицам, и я боялся отбиться от Осипа.

Вдруг он остановился и обернулся к товарищам.

— Ну, вы, друзья, скажите человеку спасибо и, того, не гудеть. Человек из последнего расшибся, вам дюжину выставил. А мы с ним пойдем.

Все стали со мной прощаться и давили руку. Осип полуборотясь ждал.

Мы тронулись с ним бок-о-бок.

— Почевать где будешь? — спрашивает Осип.



Я, конечно, мог бы пойти к знакомым почевать, но боялся хоть на минуту отпустить Осипа. Я даже взял его под руку и стал шагать с ним в ногу. Я шел молча, боялся его расспрашивать: а вдруг как рассердится, что пристаю, и тогда все пропало. Мы шли по каким-то улицам, я не мог замечать дороги,—так в голове кружились мысли, да тут повалил густой снег.

— Уж как-нибудь тебя устрою на ночь-то, — сказал Осип. И тут стал около деревянных ворот. Мы стоим оба белые от снега.

— Ты, главное дело, не робей. Валиком, валиком, гляди — на дорогу выкатился. А? Верно я говорю?—И стукнул меня по плечу.

И тут я увидел, что мне надо ему все сказать. И я сказал, что я проиграл казенные деньги, что меня завтра искать будут...

А Осип перебивает меня:

— Да ты брось, брось, милый, и так знаю, с первых слов выдать было: не в себе человек. Ладно уж. Дома-то языком не бей.

И застучал в ворота.

Крылечко под нами морозно скрипнуло. Вот дернул Осип примерзшую дверь, и вошли мы: душно, парно, темно. Куда-то впереди себя протолкал меня всего и сказал шопотом:

— Во, тут сундук. Увернись в шубу и спи до утра.

Я нащупал сундук, залез, поднял мокрый воротник, натянул на глаза шапку и закрыл глаза. И вдруг сразу внутри что-то как распустилось, будто лопнула веревка какая, что жала и давила мне грудь и дышать не давала. Я подумал, как там дети мои, и сказал: „Спите, мои родненькие, ничего: валиком, валиком“, и заснул как убитый.

III

Еще было темно, как меня разбудил Осип:

— Вставай, пошли

Я сейчас же вскочил и, держась за Осипа, пошел. На дворе было темно. Бело лежал пухлый снег, и с неба крупные наливные звезды смотрели серьезно.

— Пока не надуть, чтобы тебя кто видел таким-то видом, — сказал Осип. — Сейчас пойдем, перелицуем мы тебя — раз и два. Чайку вперед попьем, не торопясь — валиком.

— Валиком, валиком, — повторял я за Осипом, и иду все, чтоб к нему поближе.

Мы зашли в трактир, где пили чай обмерзшие ночные извозчики.

Я пил в прикуску жидкий чай, закусывал баранкой.

Стало чуть светать, синим цветом подернуло окно в трактире.

— Идем, браток, сейчас на барахолку, и там мы загоним эту шубу твою и там же тебе устроим вот этакую куртку, вроде что на мне. И шапку эту тоже надо долой. А ну, дай-ка сюда.

Осип повертел мою меховую шапку.

— Да, — говорит, — она пятерку подымет вполне. А шуба, гляди, рублей как бы не тридцать потянула. Как думаешь?

— Мне все равно, — говорю я.

— Зачем же зря татар-то баловать? Пошли

Я никогда не бывал в таких местах. Куда-то далеко заехали мы с Осипом на трамвае. В переулке было сыро, мутно. В темную подворотню шмыгнули мы с Осипом, по темной лестнице; я путался в своей длинной шубе. Осип толкнул дверку, и на меня пахнуло затхлой вонью пыльного старого тряпья. Под лампой на помосте два татарина ворочались в

куче тряпья и ругались на своем языке. От тухлой пыли гнилой туман в воздухе.

— Здорово, князь! — крикнул Осип.

Оба татарина вскочили и оба вцепились глазами в мою шубу. Один не удержался и погладил ладонью по рукаву.

Я снял шубу. Ее трясли, щупали, носили на двор, мяли мех в руках и ругались все трое: Осип и оба татарина.

— Сорок пять, последнее слово, — сказал Осип и сунул мне шубу. — Надевай. Пошли.

Я стал натягивать рукава. Но татары ухватили за полы и крикнули в один голос:

— Сорок три!

— Напяливай! — заорал Осип и стал запахивать на мне шубу. Он толкал меня в двери. Мы вышли на лестницу. На площадке уже ждали другие татары. Сразу трое нас обступили.

— Бери сорок пять!

— Полсотни, — сказал Осип и стал спускаться с лестницы.

— Сорок семь! — крикнули сверху.

Осип стал.

— Давай!

Нас потащили назад.

Татары отслюнили нам сорок семь рублей. Моя шапка пошла за пять рублей. И вот я остался раздетый у татар в этой пыли и вони. А Осип с деньгами ушел. Уж наверно прошло с час, — а его все не было. Боже мой! Какой я дурак! Я остался без шапки, без шубы, неизвестно где, у каких-то старьевщиков. Я разболтал этому конюху, что я растратчик и что боюсь милиции. Он знает, что в милицию не пойду. Что мне делать? Я видел, что татары уже подозрительно на меня поглядывают. Они два раза спрашивали:

— А что товарищ твоя: скоро ворочай — эте?

На дворе было уже совсем светло. Я слышал, как звонил, гудел трамвай, как во дворе на морозе звонко орали татарские ребятишки, а на лестнице шлепали ноги и ругались голоса. Я стал придумывать, нельзя ли за мой костюм получить у татар какую-нибудь рваную фуражку и какое ни есть старье, чтоб выйти на улицу. Я видел, что они осгро поглядывают на мои шевиотовые брюки. Я представил себя, каким я стану в этих лохмотьях, с моей бородой, в драной фуражонке на лютом морозе. Скрываться от милиции, прятаться от людей, как пес прозябший, скоряченный. Сегодня в „Вечерней“ будет напечатано. Нет, все пропало!

Дверь хлопнула, я вскочил навстречу — нет, не он. Какой-то татарин. Татарин стал болтать с хозяином, потом чего-то все на меня кивал, спрашивал. Я ведал, что про меня говорят. Теперь, наверно, весь дом знает что-то подозрительное, какой-то гражданин... А что, как приведут сейчас милицию или сыщика? Начнут спрашивать: вас обокрали, раздели, обманули? Что случилось? Почему вдруг? Кто такой? У меня опять все замутилось внутри, и я решил, что нечего ждать, а сам пошлю татар за милиционером. Хоть бы от татар выйти без позору, а там в милиции скажу, что я растратчик и чтобы меня арестовали. И уж тогда все равно — сразу по крайней мере. Буду сидеть и ждать суда. И я решил сказать татарам, чтобы пошли в район. Я поднялся и сказал:

— Вот что, дорогие граждане...

И вдруг слышу за дверью:

— Да брось! Не продаю! — И вваливается мой Осип, Осип с охалкой одежды. Красный весь с морозу.

Шапка — финка с ушами, тужурка на баране, синяя курточка и брюки. Все ношеное, но все целое.

Татары бросились.



— Почем давал?

А Осип на меня примеряет, по спине хлопает:

— Гляди ты, брат, угадал-то как!

Когда мы вышли, я в стекла магазинов глянул на себя и не мог узнать.

Теперь оставалось побриться и найти старые ботфорты.

Да, через час меня и дома не узнали бы.

Осип глянул.

Фалейтор как есть, куражу только дай побольше. Шагай теперь, как не ты — никакая сила. Кто спросит — говори: мой свояк. Так и говори: Осипу, мол, Авксентьичу Козанкову — свояк. Откуда? Тверской — и больше нет ничего. А теперь гнать надо в цирк, завозились, гляди, — пятый час скоро.

Мне стало весело и, действительно, показалось, что я уже не я, а Осипов свояк. У меня походка даже стала другая, чуть вприпрыжку, и очень легко и ловко казалось после долгой шубы.

Не узнали меня, что ли, вовсе конюхи, но они и виду не показали, что меня заметили. А я стал сейчас же помогать Осипу. Шла уборка конюшни. Я первый раз ходил около лошадей. Но я ничуть не боялся — все казалось, что это не я, а фореитору нечего бояться. И сам не ожидал, как я ловко подавал ведра Осипу, хватал щетки, мыл шваброй, где мне тыкал Осип. Француз Голуа стоял около своей лошади. Я увидал, что при дневном свете лошадка совсем синяя. Голуа макал в ведро губку и синькой поливал лошадь и все ругался по-французски. Я, не поворачивая головы, громко переводил, чего хочет француз. А он удивлялся, что конюхи стали понимать. Но он скоро догадался, что это я пересказываю. Он подошел ко мне и спросил по-французски:

— Вы умеете по-французски?



Все на нас оглянулись

— Да,— сказал я,— я немного знаю,— и продолжаю ворочать шваброй во всю мочь. А Осип мне пригозливает:

Ты не рвись, ты валиком,— и моргает тихонько на Голуа.

— Откуда вы научились?— подскочил ко мне француз.

— В войну военнопленным во Франции год держали, по неволе пришлось немного.

И ушел за лошадь, будто мне работы много и некогда болтать. У меня сильно колотилось сердце, и я хотел, чтобы француз на время отстал. Но он нырнул под лошадь и оказался рядом со мной.

— Вы здесь служите, вы новый, теперь поступили? Говорите же!

— Нет,— сказал я,— я сейчас без дела и вот пришел помочь моему родственнику,— и киваю на Осипа.

— Пожалуйста, пожалуйста,— затараторил француз,— объясните, чтобы они не мазали копыта моей лошади. Я их крашу в синий цвет, а они непременно вымажут их черным. И никакого эффекта. Никакого! И чем больше я объясняю, тем они сильнее мажут. Ужасно! Пожалуйста.

И француз убежал.

Все сейчас же бросились ко мне.

— Что, что он тебе говорил?

Я рассказал.

— Правильно!— отрезал Осип.— Оно так и есть. Ты верно сказал. Я, мол, без делов, а пришел подсобить, как мы с тобой свояки. И квит. А он, конечно, в контору... Дай-ка мне, Мирон, ведро сюда.

Я оглянулся, но сейчас же понял, что это Осип меня окрестил Мироном. Осип ухмыльнулся и, принимая ведро, сказал мне:

— Спасибо тебе, свояк ты мой Мирон Андреич. Мирон Андреевич Корольков. Вот, брат, как!

Я глянул на свои ноги в ботфортах, на синие брюки и сам наполовину поверил, что я именно и есть Мирон Андреич Корольков.

В это время входит в конюшню служитель и говорит:

— Осип! Слышь, Осип! Гони твоего земляка в контору, француз спрашивает.



У меня сердце ёкнуло. Я глянул на Осипа: „Итти ли, дескать?“

А Осип говорит спокойно:

— Только не рвишь, а катышком, помаленьку.

Я отряхнул брюки и пошел за служителем.

В конторе француз быстро лопотал что-то человеку за столом, — он оказался помощником директора. Мы вошли; француз замолчал.

Я стал на пороге и горю:

— Здравствуйте. — И кланяюсь по-простому. И так у меня хорошо вышло, будто я и впрямь только что из тверской деревни.

Помощник директора спрашивает:

— Вы что, товарищ, Осипу родственник?

— Свояки мы, — говорю, и снова поклонился.

— Вот месье Голуа хочет, чтобы вы служили, а у нас штатных мест нет. Так месье Голуа предлагает вам у него служить лично. Лично, понимаете?

— Лично, — сказал я и снова поклонился.

— Одним словом, у него в конюхах. И собак смотреть.

— Можем и собак, ответил я.

— Так вот объясните месье Голуа, как у нас в СССР: книжка

расчетная, союз там, страховка и с биржей как... Одним словом, все. А пока можете ходить поденно. Там уж сговоритесь.

Он взял перо.

— Как звать?

И тут я первый раз сам назвался по-новому:

— Мирном звать. Мирон Андреич Корольков.

Я это сказал и как будто отрезал что. Как будто не стало уже кассира Петра Никифоровича Никонова. Там он где-то. В тумане, в татарской пыли будто спит.

— Можно итти? — спросил я.

— Губернии, значит, то же Тверской? — спросил помощник. — Что это все тверские да скопские?

Я двинулся. Француз пошел за мной. Он схватил меня под руку.

— Мой друг Мирон! — кричал француз. — Я сейчас покажу вам собак, моих друзей. Идем, идем!

Но я не спешил, как велел мне Осип, я шел не торопясь, упираясь. И тут спросил француз:

— Однако, месье Голуа, сколько же вы мне жалованы положите?

— Ах, скажите мне, мой друг, сколько вам надо? Вы будете чистить лошадь, вы будете водить собак на прогулку, чистить их щеткой. Вот так, вот так, — и француз водил рукой в воздухе. — Два раза в день кормить, — это надо варить. Но это очень интересно.

Я совершенно не знал, сколько спросить, я не знал, сколько получают конюхи, и решил, что спрошу Осипа. Собаки сидели в клетке, и все пятеро злаяли навстречу Голуа. Четыре сеттера и черный пудель. Они блестели, как намазанные маслом, — до того лоснилась шерсть. Я потом узнал, что француз помадил их особой помадой и подкрашивал красной краской сеттеров.

Голуа открыл клетку. Собаки бросились к нему, подсакивали, старались лизнуть в лицо.

— Гардэву! Смирно!— крикнул француз.

Собаки замолчали и моментально уселись в ряд на земле и замерли, как деревянные.

— Вот,— сказал Голуа,— это Гамэн,— пудель обернулся.— Это Гризетт — Француз назвал всех собак по имени.— Повторите. Я повторил.

— О! Да вы гений, мой друг! Браво для первого раза. На место!— крикнул он на собак и поволок меня к лошадке.

Конюшню уже прибрали, и Осип склеивал цыгарку из махорки.

— Что, навязливается, чтоб с ним работать?

— Сколько просить?— крикнул я Осипу.

— Не торопись. Спроси: на манеж тоже с ним выходить или как?

— Как это на манеж?

— А вот как представление, то с ним вместе работать или только около собак ходить?

Француз хмурился и глядел то на меня, то на Осипа.

Я спросил французa, должен ли я буду помогать ему на арене.

— Боже мой! Неужели это вам не интересно? Я вам решаю.

— Ну, а я благодарю вас. Я не люблю на публике.

— Вы привыкнете, это ничего, мой друг. Только первый раз, а потом...

Я глянул в глаза Голуа и спросил серьезно:

— Вы нанимаете меня с выходом или без?

— Это мы увидим,— надулся француз,— годитесь ли вы еще...— И отвернулся.

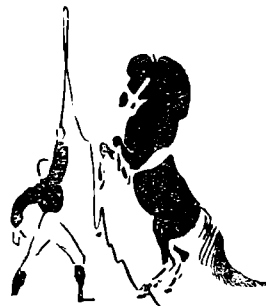
— Как вам угодно,— сказал я.

Осип как будто понял, что мы говорим, и сказал, сплевывая махорку:

— Без выхода проси с него семьдесят пять рублей, а с выходом сотню. Главней всего — не торопись. Одумается француз. Он крутит, а ты валиком, валиком. Пошли-ка обедать.

Голуа заплетал в косы гриву своей лошади и не обернулся, когда мы с Осипом пошли к двери

— Не сдавай ни в коем разе, — сказал Осип, когда мы в трактире сели за чай.



Я только что раскрыл двери, около которых я тогда метался и ждал девятого человека, и сразу услышал этот резкий крик, цирковое гиканье: „Гоп! Гоп!“ и шелканье бича.

— Самарио, итальянец, работает, — сказал Осип.

На арене металась лошадь. Человек пять конюхов стояли на барьере, растопырив руки. А вокруг пустые места смотрели сверху деревянными спинками. Смуглый брюнет в зеленой тулупке, нахмуренный, злой, кричал резко, как будто был голодом: „Гоп! Гоп!“, щелкая длинным бичом по ногам лошади. Лошадь вертелась, вскидывала ногами, дышала паром на холодном воздухе, косила испуганным глазом на хозяина. Вдруг лошадь прижала уши и бросилась в проход на меня.

— Держи! — крикнули конюхи.

Я ухватился за тонкий ремешок, лошадь завернула, встала на дыбы, но я не пустил и повис у ней на шее. Тут подбежали конюхи. Я бы никогда раньше не сделал этого, я бы отскочил в сторону, но если я конюх Мирон...

— Аллэ, аллэ! — кричал Самарио.



В это время кто-то сзади схватил меня под руку.

— Мой дорогой друг, месье Мирон!—И Голуа потащил меня вглубь в коридор, что темным туннелем идет под мостами.— Между друзьями не может быть спора,— говорил француз.— Деньги — вздор, искусство — впереди всего.

Я глянул на него; француз закивал головой.

— Сто рублей, и работа на мажеже.

И тут я заметил его глазки: совершенно черные, как две блестящих пуговицы. Он на минуту остановил их на мне, и в полутьме стало чуть страшно.

— Сегодня пятнадцатое. Начинаем! Вашу руку. Идем!

Все катилось как во сне, быстро и бесспорно. Ведь дня не прошло, а я как будто прожил полжизни Мироном Корольковым. И Мирон выходил мужичком крепким, старательным и себе на уме. Все конюхи высыпали смотреть, как мы будем репетировать с французом. Он опять повторял свои шутки. Я перевел одну и крикнул конюхам. Все захохотали.

— Что вы сказали?—бросился ко мне Голуа.—Ах, мой друг, научите меня, чтоб я сам это сказал.

Я ходил с Голуа и долбил ему русские слова.

— Крошечка мальшик прицупался на трамвэ!—Это когда пудель висел, уцепившись за хвост белой лошади. Потом пудель пускал хвост и катился по арене кубарем. Вставал совершенным чортом: мы его намазывали салом, и он весь вываливался в песок.

— Крошечка приекала домой,—говорил Голуа.

Я сам выдумывал всякую ерунду, и мне было весело.

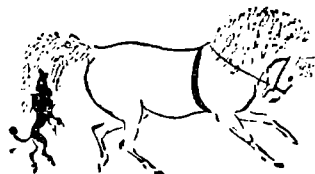
— Надо еще для детей,—сказал француз.—В воскресенье детский утренник, все школы, мальчики, девочки, надо смешно и немного глупо.

И тут я подумал: „Ведь, может, и Наташа придет. Поведут со школой“.

На арене уже играл оркестр, и я в проходе увидал, что лошадь Самарио на задних ногах топчется под музыку, а Самарио стоит под самыми ее передними ногами и грозит ей хлыстиком перед носом.

Человек в клоуновском костюме сосредоточенно смотрел на наездницу, что прыгала под веселый марш на спине тяжелой лошади. Вдруг этот человек сделал дурацкую рожу, заверещал на своем голосом и бросился на арену.

— Рано, рано! — закричал с арены человек в пальто. — Да считайте же, сколько раз я вам говорил, — на половине пятого тура ваш выход. Сначала, маэстро! — крикнул он в оркестр.



Осип схватил лошадь; наездница села на голубой помост на спине лошади. Музыка грянула марш. Осип пробежал несколько шагов и пустил лошадь.

Я слышал, как клоун, нахмуясь, считал.

— Три... четыре... Ай-я-вай-вай-га? — вдруг заорал он всю мочь визгливым голосом и кинулся к наезднице, высоко подбрасывая коленки на бегу.

Но тут Голуа потянул меня:

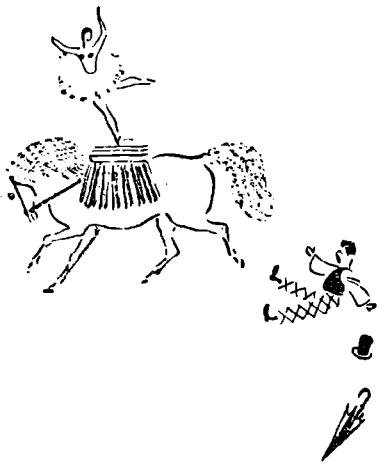
— Мой друг, я забыл: присеунался трамва!..

— Я вам буду суфлировать, — успокоил я, наконец, Голуа.

— Бон, бон, мой друг, хорошо. Я уверен. Бон.

Перед представлением Голуа напаялил на меня фрак с галунами, сам подмазал мне брови и парумянил щеки, подвел глаза. Теперь я и сам не узнал себя в зеркале. Я волновался...

— Главное — кураж, кураж! — приговаривал Голуа. — И ни слова по-русски. Мы — французы. Артист Голуа и его асси-



стент. Ассистент! Вы понимаете? — Голуа поднял палец вверх.

Мы пошли к собакам. В проходе мелькнул у меня перед глазами набитый людьми амфитеатр, яркие фонари под куполом. Голубая наездница бочком сидела на толстой лошади. Лошадь мерными волнами тяжелым галопом шла по арене.

— Вы только кланяйтесь: вот так, — говорил Голуа, — а я делаю рукой — вуаля. — Он браво взмахнул рукой и кивнул вверх подбородком. — Дю кураж, месье Мирон. После Самарио — клоун, и сейчас же наш номер. Вот! Слышите? Это его музыка. Берите собак. Гамэн!

Признаюсь, я плохо видел публику. Она слилась вся в какую-то живую стену вокруг меня. Я поклонился под музыку. Француз лихо поднял руку. И так, каналья, поднял и так замер, что все стали хлопать. Француз кланялся во все стороны. Я заметил, как Осип из прохода в своем шталмейстерском фраке внимательно глядит на меня. Да, а вчера еще я сидел на галерке в моей шубе и глядел потерянными глазами на этот номер. Музыка начала сначала, и собаки стали делать номер за номером. Я подсказывал французу русские слова, он так смешно их коверкал, что весь цирк покатывался. Я так волновался, что не заметил, как кончился наш номер. Но я, сам не зная почему, так же подпрыгнул, так же поклонился, как Голуа, и вприпрыжку выбежал вслед за собаками.

В коридоре запыхавшимся голосом Голуа говорил:

— Очаровательно, я в восторге... Вы сделаете карьеру. Через шесть месяцев вы — рантье... У вас будет свой дом. — Он жал мне руку. Собаки подвывали, и Гамэн пихал меня лбом в коленку — они ждали кормежки после работы.

— Да, да, — терсбил меня за плечо Голуа. — Когда мы кормили псов?.. Я поставлю вам номер, и тогда будете артист — вы, а я ассистент. Мировой номер. Но это не с собаками. Собака есть в каждом дворе... Не давайте много Гризетт — она фальшивила в этот вечер... Это будет сенсация. Вся пресса поделю будет занята вами. Вот вам мое слово и моя рука. — И он совал мне свою руку в потной белой перчатке.

— Завтра утром я вам покажу вашего партнера. Не забудьте лошадь Буль-де-Нэж — копыта, копыта. Я бегу, адье!

В конюшню Осип и конюхи обступили меня:

— Что говорить: артист натуральный, форменно француз и выходка есть, не надо лучше.

— Это уж ведро ставишь, — гудели мои товарищи.

И во вчерашней пивной я на остатки денег угощал конюхов. Я не заметил, как Осип выкупил мои часы и тихонько спустил их в карман моей новой тужурки.

Ночевал я в эту ночь в конюшне. Лошади мирно хрустели овсом. Они все смотрели серьезно, как и тот клоун, что считал в проходе пятый тур наседницы.

— Газету видал? — сказал мне дежурный конюх и протянул „Вечерку“. Я вертел газету, и глаза сами привели меня к месту:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ.

Скрылся с 500 рублями кассир Кредитного товарищества П. Н. Никонов. Последнее время Никонов сильно играл в клубе. К поискам его приняты меры.

Кассира Никонова нет. Как же его искать? Я натянул по уши казенный тулуп и заснул мертвецки Мироном Корольковым.

IV

Наутро вычистил Буль-де-Нэжа. Как раз кончал, тут входит Голуа. Он поздоровался с лошадкой, потом со мной и сразу же потянул меня вон.

— Идем, я вас представляю вашему партнеру! Мировой аттракцион. Это действительно европейский номер. Король реки Конго.

Он порылся в кармане, достал ключ и открыл дверь. На меня из темноты пахнуло теплом и сыростью. Голуа повернул выключатель, и я увидел посреди комнаты большую плоскую клетку. Голуа молчал и остро взглядывал черными глазками то на меня, то на клетку. Клетка мне сразу показалась пустой. Но вдруг я увидел, что на полу этой клетки, как изогнутое бревно, лежала змея. Я дрогнул. Голуа резко свистнул сквозь зубы. Змея повернулась и, шурша кольцом о кольцо, тяжело стала перевивать тело и потянулась головой к дверке.

— Ле боа! — сказал Голуа и указал мне рукой на клетку. Это действительно был удав. Не удаз, а удавище. Я не мог сразу определить его длины, но он был толст и упитан, и во всех его поворотах чувствовалась сила, как будто тяжелая литая резина растягивается и сбегается в гольца. Змея уставилась неподвижно черными блестящими глазами. В этих глазах был один блеск и никакого выражения; тупой и спокойный идиот глядел на меня. Но я не мог оторваться от этих блестящих, как стеглярус, глаз и тут почувствовал, что какая-то неумолимая и жестокая власть глядит на меня из этих черных блесков. Я уж не считал его идиотом, а все глядел, глядел не отрываясь.

— А? Не правда ли Король? Король лесов, Король Конго. Вы восхищены, я вижу, — сказал Голуа. — Ну, довольно. — Он повернул меня к двери и погасил свет.

— Работать с таким красавцем — это, конечно, счастье. Как вы ни одевайтесь, вы не заставите глядеть на себя тысячный зал, глядеть, затаив дух. Но если вы выйдете с таким прекрасным чудовищем, вы покоурили свет. Публика задохнется от восторга, от трепета. Вы понимаете, что это может вам дать? И вы, месье Мирон, вы будете артист, а я ассистент!

Но я ничего не мог отвечать. Я не мог страхнуть оцепенения и страха, что остался у меня от этих глаз удава. Мне казалось, что за нами шуршит его тяжелое тело. А когда я взглянул в черные глаза Голуа, то даже вздрогнул: удав! Такие же черные, блестящие дырки, и такие же пристальные, и он ими жмет, гвоздит, когда говорит.

В это время подошел к нам конюх Савелий.

— Иди, Мирон, живо в местком. Требуют. Сейчас!

У меня вдруг сердце упало. В месткоме будут спрашивать, спросят документы, паспорт, хоть что-нибудь, а у меня ничего, совершенно ничего, никакой бумажки. Сказать — потерял? Но тогда надо заявлять в милицию, а милиция наведет справки по месту жительства, а там в Тверской губе нии сидит в деревне настоящий Мирон Корольков. Все узнается, и я пропал, пропал!

Голуа пристально глядел на меня сбоку своими блестящими дырками. Я со злобой вырвал свою руку — он всегда брал меня под руку — и бросился в конюшню искать Осипа. А Савелий кричал мне вдогонку:



— Куда ты? Наверх, сюда. Тута местком.

Осипа не было в конюшне, его совсем не было в цирке: его послали принимать опилки. Что же делать? Я вошел в стойло к Буль-де-Нэжу и без надобности расплетал и заплетал косички на ее гриве. А Савелий нашел меня и кричал на всю конюшню:

— Да брось ты стараться, иди, не будут там ждать тебя до вечера.

— А что там им надо? — спросил я нарочно сердитым голосом.

— Да идем! Там увидишь.

Я пошел с Савелнем. Я смотрел по сторонам, куда бы юркнуть, и вдруг решил: будь что будет — как будто снова я поставил на карту последний червонец.

В местком сидел наш конторщик и билетерша. Голуа стоял тут же, хмурый. Зло глядел на билетершу и бил себя хлыстиком по голенищу.

— У вас бумаги есть с собой? — прямо спросил меня конторщик.

Я начал мужицким говором:

— Каки наши бумаги?

— Ну, книжка союзная.

По билетерша вмешалась:

— Какой вы странный! Человек только что из деревни... а потом ведь лично у Голуа. Тут главное, чтобы страховка. Спросите, Корольков, вашего хозяйчика, что же он намерен вас страховать?

Все слушали, как я спрашивал по-французски Голуа.

— Нон! Нон! — закричал француз. — Артист! Вы артист. Артист сам лезет туда, под купол цирка, и он берет плату за свой риск, он сам себя страхует. Почему один артист должен страховать другого? Нелепость. Нет, нет.

— Ага! Не хочет! — закричала билетерша. — Ни чорта, товарищ, мы ему все это вклеим. Тут тебе ЭС! ЭС! ЭС! ЭР! — крикнула билетерша в лицо французу.

Я боялся, что она ему язык покажет. У французга хлыст так и прыгал в руке.

— На, на! Пиши анкету. — Билетерша тыкала мне в руки лист. — Пиши, товарищ, и не я буду — через неделю будет книжка союзная! Пусть тогда покрутится. Валютчики!

Я схватил лист, сложил и запрятал в карман.

— Вечерком вам в кассу занесу. Мне надо толком, я по этому делу не мастер.

Я поклонился и вышел в двери. Прошел три шага и побежал, во всю прыть побежал в конюшню.

— Мирон! Мирон! — кричал сзади Голуа. Кричал тем голосом, что на собак.

Вечером я сказал Осипу все, как было. Это был теперь один человек во всем мире, кому я мог ни слова не врать. Я спросил чернил и корявым, полутрамотным почерком заполнил анкету. Выходило, что до революции я служил конюхом у разных господ, потом меня мобилизовали, и я попал во Францию. Там остался военнопленным и после революции вернулся к себе в деревню — в Тверскую губернию, в Осташковский уезд. Женат, двое детей: Сергей и Наталья. Мне было приятно вписать эту правду в анкету.

Уж совсем ночью после представления Голуа прошел со мной к удаву.

— Вы волнуетесь? Ничего. Привычка. Бояться змей — предрассудок дикаря, простите меня. Вы будете здесь топить каждый день. Король любит тепло. И вы подружитесь, я вижу. — И Голуа снова метнул на меня черными глазами. — Вот тут дрова, здесь термометр. Не ниже 17°. Вот вам ключ. Адсье.

Француз выскочил. Я остался наедине с Королем — Ле Руа, как звал его Голуа по-французски. Я старался не глядеть на эту тяжелую гадину, я осторожно прошел в угол к печке, нагнул трубу и взялся за дрова. Но я все время чувствовал за спиной это тяжелое, длинное тело, и мне поводило спину: казалось, что удав глядит на меня своими магическими стекляшками. Я раскрыл печь, уселся на полу и стал глядеть на веселый березовый огонь. Поленья густым бойким пожаром



гудели в печке. Вдруг я оглянулся. Сам не знаю почему, я сразу повернул голову. И я сейчас же увидел два глаза: блестящие и черные. Змея тянулась к огню и не мигая глядела. „Может быть, не на меня вовсе?“ подумал я. Я встал и отошел в сторону. Удав, медленно шурша кольцами, перевился и повернул голову ко мне.

— Да неужели я трушу? — сказал я шопотом. — Настоящий конюх Мирон только б смеялся.

Я подошел к самой клетке и уперся глазами в черные стекляшки.

— На, гляди, — сказал я громко. — Еще кто кого переглядит-то! — И я показал змее язык. Мы смотрели друг на друга, между нами было четыре вершка расстояния. Я в упор, до боли глядел в глаза удаву. И вдруг я почувствовал, что вот еще секунда и я оцепенею, замру и больше не двинусь, как в параличе.

Я встряхнулся и со всех ног отбежал в угол. Я ушел вон и вернулся через час. Не закигая огня, я наошупь закрыл трубу и запер на ключ комнату.



V

В воскресенье был детский утренник: Дети галдели и верещали, совсем как воробьи после дождя. Я стоял в проходе и все глядел, нет ли Наташки. Я старательно обводил глазами ряд за рядом, смотрел со стороны входа.

Я разглядывал лицо каждой девочки. Было две очень похожих, я было схватился, но нет, не она. Я оба раза ошибся.

Наш номер оказался веселее всех. Я теперь совсем не боялся на арене, подставляя барьеры, подкрикивал собакам и напропалую подсказывал Голуа. А он повторял, как попугай, ничего не понимая. От этого получалось еще смешней. Я ляпнул от себя на ломаном языке — как раз Гамэн тащил за шиворот Гризетт вон с манежа:

— Девоншка Наташа не пускайт в сиркус мамаша!

Дети хохотали так, что пугали собак, и они начинали лаять, как уличные.

Два н мера из-за этого срывались. Голуа под конец так здорово загнул прощальный жест рукой, что наш „рыжий“ не выдержал, выскочил и сделал совсем как француз.

Этого не было в программе.

Голуа озлился; я видел, как он резнул глазами и потом махнул „рыжего“ хлыстом по ногам. „Рыжий“, однако, ловко подскочил, удар пришелся мимо, а „грыжий“ уже сидел на арене и показывал французу нос.

Голуа побежал жаловаться директору.

— Никакой дисциплины, как будто все кругом итальянцы.

Потом Голуа подошел ко мне и сказал, зло поколачивая хлыстом по своему голенищу:



— Вы мне сейчас должны сказать: начнете ли вы завтра же работать с Королем? Если нет, то мы не друзья и, значит, я в вас ошибся. Утром должен быть ваш ответ, тот или иной.

И он вертко показал мне спину.

Осин был занят на манеже, мне не с кем было поговорить. Обычно кормил собак сам Голуа, а я только подавал ему порции. Но сегодня Голуа уехал сейчас же в гостиницу. Я кормил собак один. Они были взбудоражены, лезли ко мне, лизались, и я бормотал им, как дурак: „Что же мне делать, собачки вы мои?“ Завтра надо дать ответ. Я знал, что француз за мой отказ работать с Ле Руа совсем начисто даст мне расчет.

Может быть, можно, может быть, не такой уж он страшный, я посмотрю с добром, по-дружески ему в глаза, удаву этому, может быть, там есть хоть искорка живого, теплого, хоть самая капелька. А вдруг в самом деле можно с ним подружиться? Я взял ключ и смело прошел в комнату к удаву. Я свистнул еще с порога, как это делал Голуа, и змея зашуршала, заворочалась, — я видел, как гнулись доски на полу клетки. Удав поднял голову и уставился на меня.

Я подошел и сказал веселым голосом:

— Удав, удавушка, чего ты? Да что ты? — И почмокал языком, как собаке.

Я глядел ему в глаза, искал живой искорки, но неподвижные блестящие пристальные глаза смотрели неумолимо, жестоко, плотно прицеливаясь. И за ними никакой души, никакой — это была живая веревка, которая смотрит для того, чтобы видеть, кого задушить. Никак, никак я не мог, как ни хотел, найти искру теплоты в этом взгляде.

— Да опомнись ты, чорт проклятый! — крикнул я отчаянным голосом. Удав даже не моргнул глазом. Я выбежал в коридор.

Представление уже кончилось. В конюшне Самарно сидел на корточках около своей лошади. Он бережно держал в руках ее копыто и что-то причитал по-итальянски. Осипа не было: его услал Самарно за ветеринаром. Я в тоске ходил по пустому цирку; я пошел в темные, пустые ложи. Брошенные программы белели на барьерах. Я подобрал оставленную кем-то газету. Я вышел на свет; прислонясь у стены под лампой, начал читать, чтоб чем-нибудь отвлечь себя, пока вернется Осип. И я бегал глазами по строкам, ничего не понимая. И вдруг мне бросилась в глаза моя фамилия. Мелкими буквами стояло:

„Родные исчезнувшего в ночь на 15-е января кассира Кредитного товарищества Никонова предполагают ограбление или самоубийство. Об исчезнувшем до сих пор никаких сведений получить не удалось“.

Они думают, что я покончил с собой! Вот почему не было Наташки в цирке. Бедные, что же они там делают? Мучаются, мечутся, должно быть... Или это они, может быть, из гордости... или отвести поиски? Я хотел сейчас же побежать, послать открытку, — нет! — телеграмму. Но ведь наверно следят, следят за всеми письмами. Через товарища дать знать о себе? Но как впутывать его в такое дело?

И мне вдруг показалось, что вокруг нашего дома снуют сыщики, что в квартире все время обыски, чуть ни засада... А они там бьются и мучаются, и что им самим хоть топись. Пожалуй, прямо сейчас побежать к ним, обнять всех, — они меня простят, и я им прощу, а потом пойти и самому заявиться

в район. Я решил дожидаться Осипа. Я бросился в конюшню. Осип уже был там и помогал Самарио держать его лошадь Эсмеральду: ветеринар внимательно ковырял ей копыто.

— Подсоби, свояк, подсоби! — крикнул мне Осип; он совсем запыхался. Я кинулся помогать. Самарио успокаивал лошадь, ласково хлопал ее по шее. Он увидел меня и буркнул по-французски:

— А, вы здесь! Я думаю, что это работа вашего хозяина, сакраменто!

Ветеринар ковырнул, лошадь дернулась. Мы втроем висели у ней на шее. Ветеринар поднес в пинцете окровавленную железную занозу. Все конюхи бросили работу и обступили Самарио. Самарио вырвал у ветеринара пинцет и всем поочередно подносил к глазам кровавую занозу. И каждый качал много начительно головой.

Я слышал, как конюхи шептались:

— Когда же это француз успел сделать?

Самарио аккуратно завернул занозу в бумагу и спрятал в боковой карман. Я на минуту забыл даже, зачем я прибежал в конюшню. Но я вдруг все вспомнил и бросился к Осипу. Я потащил его из конюшни, а он шел, тяжело дыша, отирая рукавом пот со лба, и все приговаривал:

— Ну, скажи ты, язва какая! И когда он поспел?

Я рассказал Осипу все: все, что в газете, все, что я думаю.

— Пустое дело! — сказал Осип. — Девчонка-то в школу, чай, ходит? Ну вот: ты напиши два словца, а я утречком к школе. Поймаю какую девчонку за косицу: „Наташку такую-то знаешь?“ — „Знаю“. — „На вот ей в руки передай“. И передаст. Очень даже просто.

Я сейчас же достал бумаги и написал записку:

*„Наташенька, милая! Прости меня, и пусть мама простит.
Я жив и здоров и скоро все верну. Учись, не грусти.*

Твой папа“.

Эту записку я передал Осипу. Он ее замотал в платок и засунул за голенище. Я сразу успокоился. Я стал рассказывать Осипу про удава.

— Фюу!—засвистел Осип.— Вона что он ладит! Он раньше все тут вертелся около нас, да ведь мы не поймем ничего, чего он лопочет... А страшный?

— Пойдем покажу,—сказал я, и мы пошли в темную комнату, где была клетка с Королем.

Осип несколько раз обошел вокруг клетки. Я свистнул. Удав поднял голову, зашевелился.

— Ух ты, гадина какая! — Осип плюнул. — Ну его в болото! Такой быка задавит и не крикнет. Как же с ним работать, не сказывал он?

Да, я ни разу не спросил Голуа, в чем будет состоять работа с удавом. Я не хотел думать, что мне придется иметь дело с этой гадиной, и я не хотел говорить об этом. А Голуа, видимо, боялся меня напугать и молчал. Ждал, чтоб я привык к змее.

— Это надо все уговорить, удумать. Серьезное дело. Номер под барабан. Гляди ведь, бревно какое. Идем, ну его.— Осип ткнул меня в плечо.— Гаси, гаси.

Завтра я решил расспросить Голуа, в чем будет состоять мой номер с удавом, валиком обсудить это с Осипом и тогда дать ответ.

VI

Утром явился Голуа. Он придирчиво осматривал лошадь и едва со мной поздоровался. Я молчал и почти не отвечал

на его придирки. Да, признаться, мне не до того было: Осип побежал к школе с моей запиской. Я очень боялся, что вдруг ему скажут, что Наташка не ходит в школу, и тогда все сорвалось. Мне поэтому ничего не стоило равнодушно и холодно слушать французско-брюзжанье. Я невпопад и рассеянно отвечал. Голуа даже глянул на меня раза два, нажал черными гляделками.

— Эй, Мироша! — услышал я вдруг Осипов голос. Я недослушал Голуа и бегом бросился к Осипу.

— Ну что? Что?

Уж по тому, как Осип хитро улыбался, я понял, что дело вышло. А он шурился и не спеша выкладывал:

— ...И валит, валит, мать моя! Какую бы, думаю, пошустрей прихватить? Не напугать бы. Смотрю, две идут и снежками, что мальчишки... Я — стой! Чего, говорю, озорусь? И хватъ одну. Ну, говорю, отвечай: каких Наташек знаешь? Она — такую, сякую — хватъ, и твою. Ах ты, говорю, милая! Вот ей письмецо передашь. Дал ей письмо, а ее выпустил: беги, опоздаешь. Вот, брат, как. А с этим-то? — И Осип кивнул на Голуа.

— Не говорил пока ничего.

— И ладно. Не рвись. Дело, брат, это аховое.

— Мирон! — визгнул Голуа. — Мирон, идите сюда!

— Валиком! — крикнул мне вдогонку Осип.

Я неторопливо подошел.

— Ну? — сказал Голуа. — Ваш ответ. Я слушаю, — и наклонился боком.

— Насчет чего? — спросил я спокойно, как мог.

— Насчет Короля, удава, змен! Я жду! — закричал Голуа.

— А что вы, собственно, хотите? Ведь я не знаю, о чем мы договариваемся.

— Ну работать, работать со змеей!

— Слушайте,—сказал я строго. Голуа удивленно на меня вскинулся.—Слушайте, Голуа: я не дурачок и не колдак, вы знаете. Объясните во всех подробностях, в чем состоит номер с удавом, а то вы хотите продать мне зайца в мешке.

И вдруг француз улыбнулся так очаровательно, как он улыбался публикэ. Он схватил меня под руку и, заглядывая в лицо, потащил из конюшни.

Осип крикнул нам вслед.

— Мой друг,—заговорил ласково Голуа,—месье Мирон! Между друзьями нет споров: я не могу предложить моему другу что-либо тяжелое или безрассудное. Здесь ничего не надо, кроме привычки и аккуратности. Змея—это машина. Глупая, бездушная машина. Локомотив может вас раздавить, но не надо становиться на рельсы. Это так просто. Все дело в том, что змея будет обвивать вас своими кольцами. Она будет искать удобного положения, чтобы вас сдавить.—Голуа показал сжатый кулак.—Не пугайтесь, дорогой мой! Но она давит только при одном определенном положении: при том, в каком она напоззает на свою жертву. Пока она напоззает—кольца ее слабы, они едва висят, они свободны, подвижны. Стоит их сдвинуть, и змея вас никогда,—никогда, понимаете?—никогда не сдавит. Она будет делать второе кольцо вокруг вас,—Голуа очертил линию вокруг своего живота,—но вы методически и спокойно сдвигаете и это кольцо. Она делает третье—какой эффект! Вы представляете зрелище? Публика не дышит в это время. Но вы манипулируете и передвигаете и это третье кольцо. Змее негде навить четвертое, и она сползает. Но она сейчас же начинает свою работу снова, как автомат, как машина. Так три тура,—больше не выдерживает публика. Истерика, крики! Детей выносят. В это время в клетку—она

тут же на арене — всовывают кролика, и змея стремится туда, чтоб его проглотить. Кролика выдергивают через заднюю форточку, а дверцу захлопывают. Номер гончен. Три минуты. И это мировое дело. Афиши и буквы в два метра. С этим номером вам откроют двери лучших цирков Нью-Йорка. Париж у ваших ног, дамы! Цветы! Слава! И вы через полгода откроете кафе на Итальянском бульваре. Мирон, Мирон! — И он хлопал меня по спине.

Француз заглядывал мне в глаза и изо всех сил улыбался.
— Надо подумать, — сказал я.

— О чем думать? Думайте о том, что вы будете получать за каждый вечер от меня двадцать рублей! Это будет... — И он назвал какую-то тучу франков.

— А в месяц, — кричал Голуа, — в месяц, мой друг, в один месяц вы заработаете десятки тысяч франков! — Голуа стал и сделал рукой тот жест, за который ему хлопал каждый вечер весь цирк. — Руку! — И он бравым жестом протянул мне свою руку в лайковой перчатке.

— Я подумаю, — сказал я и не торопясь поплелся в конюшню.

— Ну, что он там голосовал так? — спросил меня Осип.

Я рассказал. Осип качал головой, глядя в пол, и молчал.

— Что-то больно он старается около тебя. Сам-то с директора за номер сгребет — будьте здоровы.

— Попробовать разве? — сказал я.

— Кака уж проба? — вскинулся Осип. — Уж если этот-то тебя попробует, так одного разу и хватит. И зовется удав. Удав и есть. Удавит и край. Крык и книжки вон.

Но я уж думал о том, что за пять раз я получу сто рублей, а через месяц — я выплачу эти проклятые пятьсот рублей. Нет! Я буду посылать сто рублей жене и сто в товарищество

за растрату. Два месяца, и я свободен. Пускай тогда судят. И не вор, не вор тогда. И я представил себе, как в банке будут удивляться: „Смотрите-ка, Никонов!“ И все будут говорить: „И всегда утверждал, что он порядочный человек. Ну, случилось, увлекся, со всяким может случиться, но не всякий же...“ А дома! Вдруг сто рублей! От папы!“ И тут же узнают, что и в банке получили... У меня запорхали, заметались в голове такие мысли, как цветы, и дыхание сперло.

— Осип, голубчик, — сказал я, — пусти, я попробую, ты знаешь ведь...

Осип рукой замахал:

— Да что ты? Господь с тобой! Да разве я тебя держу? Да что я тебе отец или командир какой? Только стой, стой! Меньше четвертного ни-ни! Никак! Двадцать пять за выход. И чтоб сто рублей вперед. А ну, неровен час, с первого же разу — тьфу-тьфу! — да что случится? А за собак чтоб особо. Уж раз твоё дело такое...

— Какое дело? — сказал из-за спины конюх Савелий.

— Тьфу, тебя не хватало. — Осип оттер его плечом. — Без тебя тут дело.

Я пошел к Голуа.

Голуа нетерпеливо ходил по коридору. Он бросился мне навстречу.

— Пу-пу?

— Двадцать пять рублей, — сказал я строго. — И сто вперед.

Голуа на секунду сдвинул брови, но сейчас же сделал восторженную улыбку и с размаха ударил рукой мне в ладонь.

— Моя рука. Честь, месье Мирон, это есть честь. Вуаля! А страховка? А, ха, ха-ха! — Он рассмеялся, как актер, отогнувшись назад. — Если я внесу три советских рубля в три

советских кассы, то, вероятно, наш Король этого не испугается. Но вот страховка, вот!

Он вынул из кармана чистенький маузер и хлопнул по нему рукой.

— Этот пистолет и мое искусство — вот страховка. Идем!

Он потащил меня в ту комнату, где был удав.

— Вот моя визитная карточка.

Он быстро вытащил из кармана серебряный карандашик и намазал посреди карточки черную точку величиной с горошину.

Он ловко плюнул на стену и приклеил карточку.

— Это глаз Короля. Раз, два, три — пять шагов. Прикройте двери.

Француз, почти не целясь, выстрелил на вскидку из маузера. Карточка слетела. Я поднял. Черная точка оказалась пробитой.

— Наклейте! — командовал француз. — Вуаля!

Бах! Новой дырки не было на карточке. Голуа бил пуля в пулю.

— Но вы скажете, голова змеи не мешок, это не фантом из музея, — голова движется. Великолепно! Бросайте карточку в воздух. Нет, выше!

Я бросил, и карточка завертелась в воздухе.

Бах! Карточка метнулась в сторону. Ясно было, что француз не промазал.

— Вы довольны? Вы поражены? Слово чести — так же будет прострелена голова Короля, если он только на секунду заставит вас почувствовать пеловкость — слово артиста. Вы можете перед каждым выходом проверять мое искусство. Для манежа я заряжаю разрывными пулями. Вы будете увереннее манипулировать кольцами Короля. Ле Руа! — обратился он к удаву. — Мы начинаем работать сегодня, после обеда. Ну?

Змею встревожили выстрелы. Она подняла голову и неподвижно глядела на меня.

Опять на меня...

VII

Мы пошли с Осипом обедать в столовку напротив. Савелий увязался за нами. Я почти ничего не мог есть.

— Ну ничего, — говорил Осип, — оно на работу-то и легче. — И смотрел больше в свою тарелку.

Говорить при Савелии с Осипом я не мог. Савелий все заглядывал мне в лицо, и, когда мы уж кончили обед, он осклабился косоротом и сказал:

— А надо, кажется, поздравить, а? С новым ангажементом?

— А что? В чем дело? — сказал Осип, будто ничего не знает.

— Как же, номер его со змеей-то. Слыхать было: француз в конторе уж договор делал. Как же-с. Пятьдесят долларов за вечер. — Он толкнул меня локтем и подмигнул. — Не грех было б поставить парочку. Ишь ведь — молчит!

— Брось ты, пристал к человеку, — сказал Осип. — Не то у человека в голове, а он парочку ему. Слюни-то распустил. Уж видно будет. — И зашагал быстрее.

Савелий будто надулся. Но мне, верно, было ни до кого. Я думал, что мне сейчас на манеж и начинать...

В цирке Голуа уже ждал меня. На манеже было много народу. Сам директор в пальто и котелке стоял, запустив обе руки в карманы. Самарио я тоже мельком заметил: он стоял в проходе и мрачно глядел, как суетился Голуа. Оркестр вполголоса наигрывал новый марш. Я его в цирке не слышал

прежде. Я потом узнал, что это был мой марш: музыка „под удава“. Марш с раскатом, как сорвавшийся поток. Голуа потащил меня в уборную. Он наклеил мне черные усы, напаялил какую-то безрукавку — она была мала на меня — и широкие штаны трубой, совершенно желтые.

— Это надо, надо, чтоб вы были другой с удавом, не тот, что с собаками. Кроме того, удав знает этот костюм. Главное — манипулируйте кольцами. Я вам буду показывать. Слушайтесь беспрекословно, тогда это абсолютно безопасно, как стакан кофе. Первое кольцо вы передвигаете вниз. Дайте вашу руку.

Он провел моей рукой по безрукавке вниз.

— Немного — двадцать сантиметров. Второе кольцо вы так же передвигаете вверх. Вот так. Третье опять вниз. Оно придется здесь, на плечах. Идемте. Дю кураж! Не трусить! Это ваша карьера. Идем.

Все служащие, все конюхи были на арене. Все глядели на меня серьезными, строгими глазами.

— Станьте здесь, посредине! Так! — командовал Голуа. — Ноги расставьте шире. Больше упору, ваш партнер не из легких.

Я чувствовал, что у меня чуть подрагивали колени.

— Внесите! — скомандовал Голуа.

Директор дал знак, и шестеро конюхов пошли, — я знал, за клеткой. У меня колотилось сердце, и я нервно дышал. Я бы убежал с арены, если б на меня не глядели кругом люди. Бежать мне было стыдно, и я стоял, стараясь покрепче упереться в песок арены.

— Дю кураж, дю кураж, — вполголоса подговаривал Голуа.

Я видел, как шестеро конюхов внесли клетку, но я старался не глядеть. Клетку поставили против прохода.



— Маэстро! — крикнул француз. Оркестр заиграл марш. Голуа подошел к клетке, и я услышал, как взвизгнула дверка, когда ее поднял француз... Вся кровь у меня прилипла к сердцу, и я боком глаза увидал, как удав двинулся из клетки на арену. Я боялся глядеть, я закрыл глаза, чтобы не побежать. Я слышал, как шуршит под ним песок, ближе и ближе. И вот сейчас около меня. Здесь! Я слышал шорох каждой песчинки, у самых моих ног. И тут я почувствовал, как тяжело налегла змея на мою ногу. Нога дрожала. Я почувствовал, что сейчас упаду.

— Дю кураж! — крикнул Голуа, как ударил хлыстом.

Я чувствовал змею уже вокруг пояса. Тяжесть тянула вниз, — я решил, что пусть конец, пусть скорей давит; я крепче зажал глаза, стиснул зубы.

— Манипюле! Манипюле! — заорал француз. Он схватил мои руки — они были как плети, — зажал их в свои и стал хватать ими холодное и грузное тело. Мне хотелось вырвать мои руки — ничего не надо, пусть давит, только скорей, скорей.

— Манипюле! Манипюле! Донк! — слышал я сквозь сон окрики Голуа.

— Третье кольцо вниз! — Он тянул моими безжизненными руками вниз эту упругую, тяжелую трубу. В это время забренчала клетка, и я почувствовал, что удав сильными, упругими толчками сходит. Я открыл глаза. Первое, что я увидел, — бледное лицо Осипа, там, далеко в проходе. Голуа поддерживал меня под руку. Ноги мои подгибались, и я боялся, что если шагну, то упаду. Осип бежал ко мне по манежу. Я слышал, как хлопнула дверца клетки. Голуа улыбался.

— Бравò, бравò! — говорил он и поддерживал меня подмышку. Я был весь в поту...

— Вам дурно? — спросил меня директор по-французски.

— О! Это храбрец, — говорил Голуа, — настоящий француз — brave мужчина. Не беспокойтесь, месье, немножко коньяку — и все!

Я неверными шагами шел рядом с Голуа. Мы остановились, чтобы пропустить клетку с удавом. Я сидел в уборной, разбросав ноги, а француз болтал и подносил мне коньяку рюмку за рюмкой. Я едва попадал в рот — до того тряслись руки. Я хотел пойти к Осипу, я хотел лечь в конюшне, но я знал, что я сейчас не дойду.

VIII

Перед представлением я пошел пройтись по морозу. Осип был занят, я пошел один. В дверях меня нагнал Савелий.

— Ах, как это вы! Я думал, вот-вот с ног падете. Этот номер у вас пойдет. — Он увязался со мной на улицу. — Надо бы spraysнуть, уж как полагается.

Я не говорил, а только кивал головой.

— Ну, ладно, вечером, значит. Все же наш, советский, артист. — Он снял фуражку, поклонился и побежал обратно в цирк.

Я вернулся за час до начала. В полутемном коридоре под местами я услышал иностранный разговор. Я заглянул и сразу на фоне тусклой лампочки увидел длинный силуэт Голуа. Самарио стоял против него и сквозь зубы говорил с итальянским раскатом:

— Вы, вы это сделали. Никто, ни Мирон, ни один человек. Здесь только один мерзавец.

— Что? Как! Что вы сказали? — Голуа шипел и, видно, боялся кричать. Я видел, что он слегка приподнял хлыст, тоже как бы шопотом.

Я мигнуть не успел, как Самарио залепил оплеуху французцу. Он стукнулся об стену и сейчас же оглянулся. Итальянец рванул у него из руки хлыст и резнул два раза по обеим щекам, так что больно было слышать, и хлыст полетел и шлепнулся около меня.

— Мерзавец! Бродяга! — крикнул Самарио, залуствовав руки в карманы своей венгерки. Я ушел в конюшню.

Вечером на работу Голуа вышел с наклеенными бакенбардами. Я очень рассеянно работал. Прямо чорт знает что получалось у нас в этот вечер. Собаки все путали, а Гризетт вдруг поджала хвост и побежала в проход, вон с арены. Голуа погнался. Он поймал ее за ухо в конюшне. Мне видно было, как лицо у него скривило судорогой от злости, и он хлыстом бил и резал Гризетт по чем попало. Собака так орала, что публика начала гудеть. Я хотел бежать за кулисы, но в это время выбежала Гризетт, а за ней весело выскочил вприпрыжку Голуа. Он улыбался публике сияющей улыбкой. Мы кое-как кончили номер. Голуа сделал свой знаменитый жест. Публика на этот раз меньше хлопала.

Я стоял в проходе и смотрел, как пыхтели на ковре среди арены два потных борца. Ко мне вплотную подошел Самарио.

Он потянул мою руку вниз и кивнул головой: „Пойдем“. Мы вышли в коридор. Самарио глядел мне в глаза, шевелил густыми бровями и говорил на плохом французском языке.

— Ваш хозяин — мовэ сюэ! Негодй! Вы это знаете? Нет? Вы делаете помер с боа, с удавом. Я должен вам сказать, что в прошлом году я читал в заграничном журнале „Артист“ про один случай. Катастрофу. Тоже боа и тоже обвинял человека, и этот номер показывал тоже один француз. И в Берлине этот удав задавил человека насмерть! При всей публике. Поняли? Я не запомнил фамилию француза. Это все равно. Фамилию делает вам афиша. Но я думаю, что на вас платят с этого удушенного человека. И змея та же самая. Вероятно. Но что уж наверно — так это то, что вы работаете у подлеца. Вы сами не француз? Нисколько? Вашу руку.

Самарио больно сдавил мне руку и пошел прочь. Походка у него была твердая; казалось, он стывал каждую ногу в землю. Он звонко стучал каблуками по плитам коридора.

Я все смотрел ему в спину и думал: „Неужели я надеваю этот костюм покойника?“ Мне не хотелось верить. Итальянец ненавидит Голуа. Может быть, он врет мне парочно, чтоб сорвать французу его помер. Мстит ему за то, что он испортил ему лошадь Эсмеральду“. Я хотел догнать Самарио и спросить, не шутит ли он, чтоб напугать меня. Ночью мы, конюхи, сидели в нашей пивной. Я угощал. Савелий опять говорил мне „вы“ и называл „гражданин, простите, Корольков“. Когда мы вышли на улицу, он отстал со мной и сказал:

— Червончик-то дайте мне на счастьеце, а? На радостях-то?

Какие уж были там к чорту радости: Голуа завтра обещал пропустить удава через меня два раза. Я полез в карман и дал Савелию червонец. Пропили мы одиннадцать рублей. Изо

всей сотни у меня осталось только 76 рублей. Я решил завтра же послать в банк 50 и 25 домой.

Так я и сделал: на другой день утром я послал два перевода. На том, что в банк, написал не сам: мне за пятак написал под мою диктовку какой-то старик в рваной шинели. Фамилию и адрес отправителя я выдумал, а на „письменном сообщении“ так: „По поручению П. Н. Никонова в счет его долга в 500 рублей. Остается 450“. Перевод домой я заполнил сам. Фамилию отправителя я выдумал, но на обороте написал по-французски жене:

„Милая моя! Я жив и здоров. Я работаю, я плачу свой долг банку, а эти деньги посылаю тебе. Если ты меня простишь, и меня и Наташу, купи, дорогая, ей зеленую шапочку вязаную, она так просила. Твой Пьер. Умоляю, не щипи меня. Я вернусь, когда будет все кончено“.

Я хотел еще много приписать, но начал так разгониисто, что едва хватило места и на это. Квитанцию я запрятал в шапку за подкладку.

Я шагал по улице совсем молодцом. Я чувствовал в шапке эти квитанции. Мне казалось, что я что-то большое несу в шапке, что шапка набита, и я иду, как разносчик с лотком на голове.

Но когда я вошел в цирк, я вспомнил, что мне надо идти топить к удаву. „Ничего, — подумал я, — вот удав выручает. О! привыкну“. И я сказал себе, как Голуа: дю кураж! Я топил, не глядел на Короля. Вздор! Машина, чорт с ней, что живая. Нельзя же бояться автомобиля в гараже потому, что он тебя раздавит, если лечь на дороге. Но когда змея зашуршала в своей клетке, мне стало не по себе. Я мольком глянул на нее и вышел из комнаты.

После обеда я опять наклеил усы, как вчера. Я нарочно порвал безрукавку, когда напялил ее на себя. Весь этот костюм казался мне покойничьим саваном. Я спросил Голуа, нельзя ли мне работать в том, что на мне.

— О, нет! Змея привыкла именно к этому.

— А разве кто-нибудь в нем уже работал? — спросил я.

— Я! Я! Я сам в нем работал, я учил змею делать номер. Вы сейчас только манекен, фантом. В этот костюм проще было бы нарядить куклу. Она не тряслась бы, по крайней мере, как кролик!

Голуа так орал, что одна бакенбарда отстала, и мне стал виден багровый рубец на его щеке.

На арене повторилось почти то же, что вчера. Только я на втором туре приоткрыл глаза. Но руками я все еще сам не действовал. Голуа ворочал ими и покрикивал:

— Маниполё ву мем! Сами старайтесь, сами! Дю кураж!

Он меня снова отпаивал коньяком. Он хвалил меня, говорил, что теперь он видит, что дело пойдет, что он даст афишу. Через неделю можно выступить.

— Да, — сказал он, когда я уходил, пошатываясь, из уборной, — да, а коньяк купите сами. Серьезно. Вы выберете, какой вам больше по вкусу.

Билетерша, наша делегатка, перед представлением принесла мне книжку. Она долго мне не давала ее в руки, все хлопала книжкой по своему кулачку и выговаривала мне:

— Ты, товарищ, теперь обязан, как член профсоюза, требовать, чтоб твой валютчик этот тебя застраховал. Требовать! Понимаешь? А если что, сейчас же скажи мне. Нашел себе, скажи, дураков каких! Вот тебе книжка, и чтоб завтра же он взял страховку!

Я сделал дурацкую морду и смотрел в пол. Больше всего потому, что брал от нее фальшивую книжку.

Теперь в кармане была книжка на Мирона Королькова; мне очень хотелось совсем быть Мироном, но в шапке были эти квитанции, и от них мне и приятно и жутко. Я шел от билетерши, и тут на лестнице меня ждал Савелий.

— С союзом вас! — И он мотнул шалкой в воздухе. — Нынче у вас выходило — ах, как замечательно! Артист, артист вполне, народный артист советской республики Эр-Эс-Эф-Эс-Эр!

Он шел за мной по лестнице. Мы проходили через пустой буфет, и тут Савелий сказал:

— Трешечки не будет у вас?

У меня было два рубля и мелочь.

— Хочешь рубль? — И протянул в руке бумажку.

— Да что ж это вы? — фыркнул Савелий. — Это что? Как нищему? Скажи, буржуем каким заделался. Давно ты сюда влез-то?

— У меня же нет трешки, понимаешь?

— Поняли! — Савелий мотнул вверх подбородком и зашагал.

IX

Мы работали с удавом теперь уже в три тура, как говорил Голуа. Удав переползал кольцами через меня три раза. Я уж стал двигать кольца, и француз со своей рукой наготове командовал:

— Ниже, ниже! Хватайте второе кольцо.

И я чувствовал под пальцами тяжелое, твердое тело змеи: живая резина.

Теперь уж музыка обрывала свой марш, едва удав подползал ко мне, и барабан ударял дробь тревожно, все усили-

вя и усиливая. В прежние времена ударяли дробь, когда человека казнили. После третьего „тура“ барабан замолкал, звякала форточка в клетке, удав спешил схватить кролика и волнами, как веревка, которую трясут за конец, быстро уползал в клетку. Я уже не закрывал глаз, я не шатался на ногах.

В воскресенье вечером должен был идти первый раз при публике наш номер с удавом.

Оставалось еще четыре дня.

— Вы видите, мой друг, — сказал мне Голуа, — это же просто, как рюмка абсенту. Этот фальшивый риск только опьяняет, правда ведь? Бодрит! И вы на верном пути. Три минуты, и двадцать пять рублей. И вы уже, я заметил, обходитесь без коньяку, плут этакий!

Француз обнял мою талию и защекотал мне бок, лукаво подмигнув.

Я оделся и вышел пройтись.

Я шел, совершенно не думая о дороге. Я сам не заметил, как очутился у своего дома.

Схватился только тогда, когда уже повернул в ворота. Наш дворник с подручным скребли снег на панели. Я на минуту задержался.

— А кого надо, гражданин? — окликнул меня дворник.

Я бухнул сразу:

— Корольковы тут?

— Таких не проживают, — отрезал дворник.

— Нет у нас такого товару, — сказал подручный, оперся на скрябку и подозрительно уставился на меня. Я повернул и быстро пошел прочь. Я завернул за угол и ускорил шаги.

Улица была почти пуста, и я уже хотел завернуть еще за угол, как вдруг увидал двух девочек. Девочки шли и раз-

махивали школьными сумками. Они так болтали, что не в дели ничего.

Я узнал — справа моя Наташка.

Сердце мое притаилось: окликнуть? Если б одна была она... Я прошел мимо, дошел до угла, обернулся и крикнул громко:

— Наташа! Наташа!

Наташа сразу волчком повернулась. Она смотрела секунду, выпучив глаза на незнакомого человека, красная вся от мороза и волнения, и стояла как вкопанная.

— Наташа! — крикнул я еще раз, махнул ей рукой и бегом завернул за угол. Тут было больше народу, и я сейчас же замешался в толпе. До цирка я шел не оглядываясь, скорым шагом, и запыхался, когда пришел.

На дверях цирка мне бросилась в глаза новая афиша. Огромными красными буквами стояло:

МИРОНЬЕ.

Я подошел и стал читать:

Всем! Всем! Всем!
В воскресенье состоится первая гастроль известного укротителя
неустрашимого
МИРОНЬЕ.
Первый раз в СССР! На арене царь африканского Конго
КРАСАВЕЦ УДАВ КОРОЛЬ. Редчайший экземпляр красоты и силы.
6 метров длины!
Борьба человека с удавом! **МИРОНЬЕ** будет бороться с чудовищем
на глазах публики.
Детей просим не брать.

И тут же в красках был нарисован мужчина в такой же безрукавке и желтых брюках, в каких я работал, и этого

человека обвил удав. Удав сверху разинул пасть и высунул длиннейшее жало, а Миронье правой рукой сжимает ему горло.

Вот какую афишу загнул француз. Мне было противно: мне так нравилось, что на наших цирковых афишах правдиво и точно рисовали, в чем состоят номера, и даже артисты бывали похожи. И чего он, не спросясь меня, окрестил меня Миронье? Рожа у меня была на афише, как будто я гордо погибаю за правду.

В конюшне все были в сборе, и, пока еще не начали готовиться к вечеру, все болтали. Я вошел. Осип засмеялся ласково мне навстречу:

— Видал? — И Осип стал в позу, как стоял Миронье на афише, поднял руки вверх. — Ирой!

Все засмеялись.

— Миронье! Миронье!

Савелий стоял в хлесткой позе, опершись локтем о стойло и ноги пощипывая. Дерякал папиросу, оттопырив мизинец.

— Миронье, скажите. Много Миронья резвелось.

Все на него глядели.

— Удавист! — фыркнул Савелий. — Усики наклгивает. Вы бы, барин, свою бородку буланжой обратно наклеили. Звончей было бы.

Савелий говорил во всю глотку, туда — в двери. Все оглянулись. В дверях наша делегатка билетерша кнопками насаживала объявление от месткома.

— Своячки! За шубу посвоячились. В советское время, можно сказать, такие дела в государственном цирке оборудовать.

Билетерша уже повернула к нам голову. Я шагнул к ней.

— А, товарищ Корольков! — И билетерша закивала.

— Какой он к чорту Корольков? — закричал Савелий.

—Знаю, знаю,—засмеялась билетерша,—он теперь Миронье. Идем, Миронье—дело.—Она схватила меня за руку и дернула с собой.

Я слышал, как Савелий кричал что-то, но все конюхи так гудели, что его нельзя было разобрать. А билетерша говорила:

— Как орут! Идем дальше. —И мы пошли в буфет. Билетерша мне сказала, чтоб я подал заявление в союз, что Голуа не боится меня и заставляет делать опасный для жизни номер.

— Ты же не в компании, ты нанятой дурак, понимаешь ты, Мирон. Это же безобразие.

Я обещал что-то, не помню, что говорил; я прислушивался, не слышать ли голосов снизу из конюшни. Я говорил невпопад.

— Совсем ты обалдел с этим удавом,—рассердилась билетерша.—Завтра с утра приходи в местком.

Мне надо было готовить Буль-де-Нэжа, и я пошел в конюшню.

Там все молчали, и все были хмурые. Савелий что-то зло ворчал и выводил толстую лошадь для голубой наездницы. Я принялся расплетать гриву Буль-де-Нэжа.

Самарио вывел Эсмеральду—она уже не хромала. Он пошел на манеж, а лошадь шла за ним, как собака. Она вытягивала шею и тянула носом у самого затылка итальянца.

— Аллè!—крикнул Самарио. Эсмеральда круто подобрала голову и затопала вперед. Самарио топнул в землю, подскочил и как приклеился к крупу лошади.

Я вывел Буль-де-Нэжа промяться на манеж. Голуа меня ждал. Самарио остановил свою лошадь около нас.

—Я даю вам неделю,—сказал он, хмурясь на Голуа,—кончайте здесь и чтоб вас тут не было. А то не баки, а всю

голову новую вам придется приклеить. Поняли? Аллè! — И он прсехал дальше.

Слыхали? Слыхали, что сказал этот бандит? — И Голуа кивнул головой вслед итальянцу. — Вы свидетель! Я прямо скажу губернатору... нет, у вас теперь совет! Прямо в совет. У меня пять тысяч франков неустойки. Вы свидетель, месье Мирон. Я б его вызвал на дуэль и отстегнул бы ему язык, если бы захотел, но с бандитами разговор может быть только в полицейском участке.

После нашего номера я спросил Осипа:

— Как дело? А?

— Как приберемся, гони прямо в пивнуху, а я приведу Савелю, сделаем разговор. — И Осип прищурил глаз. — Поним? Это надо. .

Но Осип сорвался: на манеже сворачивали ковер после борцов.

Я ждал в пивной и потихоньку тянул пиво. Я все думал. Мне казалось, что уж ничего не поправишь, что Савелий уже слодил в местком. Может быть, написал заявление... или прямо донес в район. Мне хотелось поскорее уехать отсюда в другой город. Если б Самарио еще... раз набил року Голуа, чтоб завтра же собрался вон с удавом, собаками и со мной! А вдруг все, все уже кончено, и мне надо бежать сейчас же, прямо из этой пивной?

Пивную уже закрывали; я спросил еще бутылку. Официант поторапливал. Я решил, что, если не дожусь Осипа, я не вернусь в цирк. Шторы уже спустили. Я уже знал, что через минуту меня отсюда решительно попросят. Чтоб задобрить хозяина, я спросил полдюжины и обещал выпить духом. Мне еще не поставили на стол бутылок, тут стук на черном ходу. Вваливается Савелий, а за ним Осип.

Мы сидели и молча пили бутылку за бутылкой. Осип спросил еще полдюжины. Савелий только хотел открыть рот, Осип перебил его:

— Ты мне скажи, зачем ты товарища топил? А? Человек страх такой принимает, а ты эту копейку из него вымучить хочешь? Товарищ этот...

— Какой товарищ? — грубым голосом сказал Савелий.

— А Корольков?

— Какой он Корольков? — И Савелий глянул Осипу в глаза: на-ка, мол, выкуси.

— Не Корольков? А как же его? — И Осип прищурился на Савелия.

— Не знаю, как.

— А вот не знаешь. — Осип не спеша взял за горло бутылку, — не знаешь ты, браток, вот что крепче: бутылка эта самая, — и Осип похлопал бутылкой по ладони, — или башка, скажем к примеру? Нет? Не знаешь? И я не знаю. Так можно, видишь ты, попробовать это дело. — Осип пригнулся и все глядел прищуренным глазом на Савелия.

Стало тихо. Савелий смотрел под стол.

— Ну это... того... конечно... — забурчал он, — известно... — И вдруг взял свой стакан, ткнул в мой: — Выпьем, что ли, и квит.

Я чокнулся и выпил.

— Так-то лучше, — сказал Осип и тихонько поставил бутылку на стол.

— Допиваем и пошли, — вдруг сказал Савелий весело, как будто ничего не было. — Вы об лошадке можете не хлопотать, мне ведь между делом раз-два. А вам ведь после удава-то... Верно: страсть ведь какая.

— Уезжать тебе надо, — шепнул мне на ухо Осип, когда мы расходились. — Все одно он тебя доедет... Савел-то.

В воскресенье был назначен днем детский утренник.

Я не смотрел по рядам на этот раз—я сразу увидал среди темных шапок зеленый огонек: ярко горела зеленая шапочка. Наташка сидела во вторых местах слева. И как я ни поворачивался на манеже во время нашего номера, я и спиной даже чувствовал, как видел, где она, эта зеленая шапочка. Я подозвал Осипа и из прохода показал ему.

Осип заулыбался.

— Скажи, какая хорошенькая! Вот эта, говоришь, что встала?

— Да нет, вон рядом, в зеленом-то.

— Ну, эта еще лучше,—улыбался Осип. — Позвать, может? В антракте скажешь? Аль боязно—вдруг кто заметит. А?

„Рыжий“ подошел к нам.

— Кого вы высматриваете? Знаете кого-нибудь?

— Девочка мне будто известная,—сказал Осип.

— Дорогой, пожалуйста, хоть одну, мне надо до зарезу!

Осип глянул на меня, и я незаметно кивнул головой.

— Вон тая, зелененькая, вон-вон, во вторых местах,—как бы не Наташей звать.

„Рыжий“ закивал головой.

Пока расставляли барьеры для лошадей, „рыжий“, как всегда, путался и всем мешал. Дети смеялись. И вдруг „рыжий“ закричал обиженным голосом:

— Вы думаете, если я „рыжий“, так очень дурак? Я тоже учился... вот... вот...—и „рыжий“ тыкал пальцами ребят,—вот с этой девочкой.—Он ткнул на Наташу. Он встал на барьер арены и тыкал пальцем прямо на Наташку. Я видел, как она хохотала и жалась на своем месте. Все на нее глядели.—Вот в зеленом колпачке. Да! Я даже насквозь помню, как ее зовут.

„Рыжий“ приставил палец ко лбу. Наташка свирятала голову за свою соседку.

Секунду была тишина.

— Наташа!—выпалили „рыжий“ и навзничь лягнулся с барьера, задрав ноги.

— Верно!—запищало несколько голосов, и все захлопали, загоготали. Наташка, красная, хохотала в плечо своей подруге.

В антракте дети повалили в конюшню всей гурьбой. Я вертелся тут же, но не мог сквозь густую толпу ребят пробиться к Наташе и только издали следил за зеленой шапочкой.

Вечером шел в первый раз при публике номер с удавом. Но я очень легко о нем думал. Мне скорей хотелось начать получать свои два с половиной червонца. И я считал в уме:

— Воскресенье—раз. Понедельник—не работаем. Вторник—уже пятьдесят рублей. Это в банк... Нет, им! А в банк—в пятницу.

Я представлял, как они получают там дома. Ответ от них уж у меня был—на Наташке зеленая шапочка, как я просил.

Цирк был набит битком, и говорили, что около кассы скандалы и милиция. Мой номер должен идти последним. Директор нашел меня и серьезно спросил вполголоса:

— Вы себя хорошо чувствуете?

Я себя отлично чувствовал. Представление было парадное. Самарио играл со своей Эсмеральдой в футбол. Осип и „рыжий“ стояли голкиперами. Эсмеральда три раза забила гол Самарио. В конце „рыжий“ прижал мяч коленками к животу и кубарем выкатился с манежа. Эсмеральда кланялась и делала публике ножкой. Потом схватила Самарио за ворот и унесла с арены. Я с этой возней с удавом не заметил, когда итальянец успел наладить этот номер.

Наш номер с собаками и с Буль-де-Нэжем прошел с блеском, как никогда. Голуа вызывали, и он три раза повторял свой жест. Теперь под куполом без сетки работали воздушные гимнасты. Тут Голуа схватил меня под руку и потянул к удаву.

— Я обязан вам показать мое искусство.

Он что-то долго рисовал этот раз на визитной карточке.

— Бросайте! — сунул мне Голуа карточку. Я взглянул. На карточке была довольно похоже нарисована голова Самарио в жокейской кепке.

— Бросайте! Еще! Еще! Мы его помучим сначала.

Француз без промаха сажал из маузера и подбивал карточку.

— Клейте теперь!

Я наклеил карточку на стену.

Бах! бах! И Голуа всадил две пули рядом на месте глаз картонного Самарио.



Я вышел на манеж в своей безрукавке. Желтые панталоны с раструбами болтались на ногах, как паруса... Я сделал рукой публике и поклонился. Весь цирк захопал.

— Вот что значит афиша! Какой кредит! — сказал француз.

Когда внесли клетку, вся публика взволнованно загудела. Это волнение вошло и в меня. Сердце мое часто билось. Но вот грянул мой марш, визгнула дверка. Удав пошел на меня. Я манипулировал кольцами под барабанную дробь. Барабан бил все громче, все быстрее. Перед третьим разом публика заорала:

— Довольно! довольно!

Удав полз по мне третий раз. Вой и крики заглушали барабан. Удав уже полз к своей клетке. Музыка снова уда-

рила мой марш. Я осмотрелся кругом: весь цирк стоял на ногах. Хлопали, кричали, топали. Я раскланивался. Публика не унималась. Бросились с мест.

— Долой с манежа!—резко крикнул мне Голуа.—Они будут вас бросать в воздух.

Я проскочил впереди клетки, которую уж несли служители за кулисы.

Клетку поставили в коридоре, и публика тискалась и толкалась: всем хотелось взглянуть на Короля. Голуа в уборной обнимал меня.

— Вы должны меня благодарить, мой прекрасный друг, но я рад, я поздравляю, я горжусь вами.—И он тискал меня со всех сил. Я вспомнил про пятьдесят долларов. Я спросил деньги.

— Ах, мой друг, ведь вы получили за четыре вечера вперед.

Да, действительно: я взял у Голуа сто рублей еще перед первой пробой.

— Но если вам нужны деньги, то я готов. Вот вам двадцать пять,—и он масляно глядел мне в глаза, передавая червонцы,—и даже... тридцать. Я не копейщик.—И он с шиком хлопнул мне в руку дрянную пятерку.—Вы счастливы! Поцелуйте меня!

И мне пришлось с ним поцеловаться.

— Слушайте, мой друг,—сказал Голуа, обняв меня за плечо,—ведь вы француз в душе, в вас есть мужество галла, изысканность римлян и мудрость франков. Вы мне сочувствуете, не правда ли? Скажите, что лучше всего предпринять против этого корсиканского бандита? Вы ведь не откажетесь быть свидетелем?

Я знал лишь одно, что надо скорей, скорей уезжать отсюда. И я сказал Голуа:

— Ведь Самарио тоже может найти свидетелей... заноза, железная заноза... Вы понимаете?

— Это подлый вздор!—закричал Голуа, и глаза его сжались, кольнули меня.

— Да, но об этом говорят, все говорят.

Француз вернулся и хлопнул себя зло по ляжке. Но вдруг он присмирел и таинственным голосом спросил:

— Вы знаете этого конюха?—И он показал рукой маленький рост и большие усы. Я узнал Савелия и кивнул головой.

— Вот он,—продолжал шепотом француз,—он мне сказал, будто он видел, и чтоб я ему дал десять рублей. Это вздор, он мог видеть это во сне. Но он бедный человек. Здесь такие маленькие жалованья. Я пожалел его... я дал десять рублей. Как вы думаете?

— Я думаю, что надо ехать, и больше ничего.

— Вы думаете?

— Да,—сказал я твердо.

— Вашу руку, мой друг, я вам верю.—И Голуа посмотрел мне в глаза нежным взором.

Через неделю Голуа назначил отъезд. Приглашений было масса. Даже предлагали уплатить все неустойки.

За эту неделю я успел послать пятьдесят рублей в банк и двадцать пять домой. Долгу за мной теперь оставалось четыреста рублей.

После прощального спектакля Самарио снова подошел ко мне и сказал:

— Еще раз говорю вам—ваш хозяин мер-за-вец!

— Я знаю,—сказал я.

Самарио вздернул плечи.

— Ну... вы не дурак и не трус. Аддио, аддио, синьор Миронье.—И он крепко пожал мне руку.



В день отъезда я бегал к школе — я стоял напротив у остановки трамвая и пропускал номер за номером. Выходили школьники, но Наташи я не видал. Может быть, я ее пропустил... Вечером на вокзале бросил в ящик письмо. Я написал длинное письмо домой. Я ничего не писал о том, где и как я работаю. Не написал и о том, что уезжаю. Я до смерти боялся, чтоб не напали на мой след раньше, чем я выплачу эти проклятые пятьсот рублей.

Конюхи меня провожали, и Осип стукнул рукой в мою ладонь и сказал:

— Ну, счастливо, свояк! Пиши, если в случае что. Не рвись ты, а больше норови валиком. Счастливо, значит.

А я все говорил: „Спасибо, спасибо“, и никаких слов не мог найти больше.

XI

Теперь я уже жил в гостинице; меня прописали по моей союзной книжке. В этом чужом городе меня никто не знал.

В цирке меня приняли как артиста, артиста Миронье с его мировым номером — борьба человека с удавом.

Голуа все торговался с конторой, чтоб помещение для удава топили за счет цирка.

Здесь уже три дня висели афиши, и все билеты были распроданы по бенефисным ценам. Оркестр разучивал мой марш. Нельзя было менять музыку. Король уж привык работать под этот марш. Я узнал, что Голуа прибавили до семидесяти долларов за выход, и я потребовал, чтоб за это он взял мое содержание на свой счет. Голуа возмутился.

— Это вероломство! — кричал он на всю гостиницу. — Честь — это есть честь.

Но я намекнул, что могу заболеть, и даже сделал кислое лицо. Француз ушел, хлопнув дверью. По ночью, после представления, он ворчливо сказал в коридоре:

— Больше семи рублей в сутки я не в состоянии платить за вас.— И нырнул за дверь.

„Ничего, валиком“, твердил я себе, засыпая.

Дела мои шли превосходно. Я получил мое жалование за месяц. Все сто рублей я перевел в банк. Это уж были последние сто рублей. Я ходил в тот день именинником. Я теперь думал только о том, чтобы собрать еще немного денег для семьи. Я решил, что скоплю им шестьсот рублей. Пока меня будут судить, пока я буду в тюрьме, пусть им будет легче житься.

Мы переезжали с французом из города в город. Голуа уже заговаривал о загранице. К удаву я почти привык. Я говорю почти, потому что каждый раз, как открывалась на арене клетка, по мне пробегала дрожь.

Мы гастролировали на юге, и уже повеяло весной. Удав стал веселей; он живей подползал ко мне, он спешными, крутыми кольцами обвивал меня,—этого бы никто не заметил. Сам Голуа этого не видел, это мог чувствовать только я, у которого под руками играли упругие мышцы удава. Я чувствовал, что удав сбросил свою зимнюю лень. Наш номер кончился в две минуты. И я каждый раз слышал вздох всего цирка. Француз не врал: зрители еле дышали, пока удав, как будто со злости за неудачу, с яростью завывал вокруг меня новое кольцо.

У меня было уже шестьсот рублей. Но деньги сами плыли мне в руки. Я играл без проигрыша. Я теперь сам выбирал, куда мне стягивать кольцо змеи—вниз или вверх. Я вертел змеей, как хотел. Этот резиновый идиот впустую проделывал

свою спираль и оставался в дураках. Мне нравилось даже играть с ним, когда он был на мне; я его уж несколько не боялся. Я решил добить мои сбережения до двух тысяч. Свое жалованье за работу с собаками я целиком отправлял семье.

Был, помню, праздник. Народу, как всегда на наши гастроли, привалило множество. Было тепло. Толпа была пестрая, и яркими пятнами светились в рядах детские платья. От манежа пахло конюшней. Шел дневной спектакль — в этот день у медя было два выхода с удавом. Оркестр бодро грянул мой марш, вся публика привстала на местах, когда пополз удав. Он быстрыми волнами скользнул ко мне, шурша опилками по манежу. Голуа стоял рядом, как всегда держа под пакидкой свой маузер. Удав набросил свое тело кольцом, но я шутя передвинул его выше; удав скользнул дальше. Я работал уверенно, играючи. Шел третий тур. Я уже лениво перебирал кольца. И вдруг услышал:

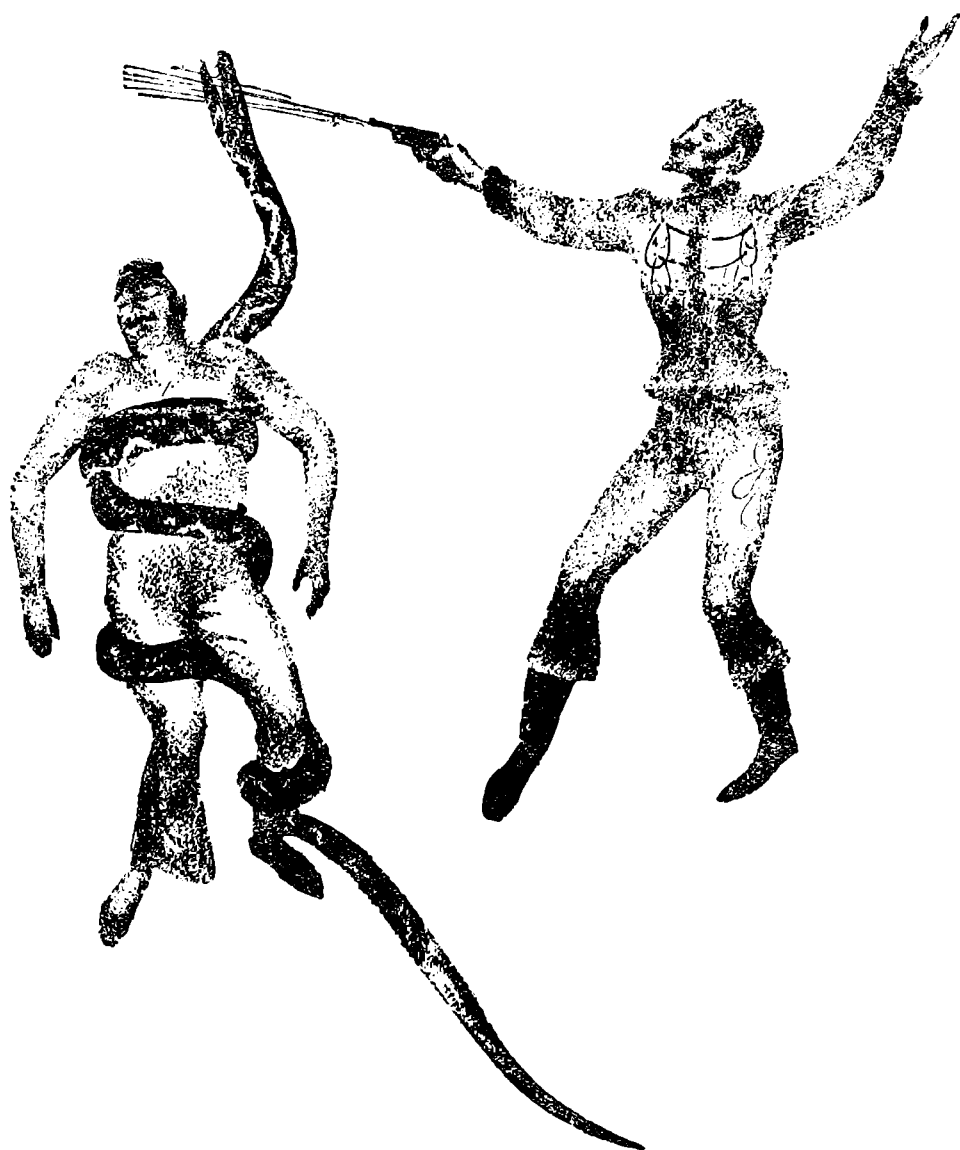
— Маниполё! Маниполё!

И в это время я почувствовал, что кольцо змеи с неумолимой силой машины сжимает. Я ударил по кольцу кулаком, как о чугунную трубу, и я больше ничего не помню.

Потом мне рассказали, что Голуа выстрелил, что весь цирк сорвался с мест с воем; женщины бились в истерике. Конюхи, пожарные бросились ко мне.

Я очнулся в больнице. Я открыл глаза, обвел эти чересчур белые стены без единого гвоздика, без картинки. увидал на себе казенное одеяло и сразу все понял. Я не знал, цели я, и боялся узнавать. Я закрыл глаза. Я боялся пошевелить хоть одним членом, чтоб не знать, ничего не знать. Я забылся.

Меня разбудил голос: кто-то негромко, но внятно и настойчиво говорил надо мною:



— Миронье! Вы слышите меня, Миронье?

Я открыл глаза: падо мной, в белом халате, стоял доктор в золотых очках. За ним стояла сестра в белой больничной косынке.

— Как вы себя чувствуете?—спросил доктор по-французски.

— Я русский, — сказал я. — Спасибо. Не знаю. Скажите, доктор, я совсем пропал? — сказал я и почувствовал, что слезы застнали глаза и доктор расплылся, не видно. Я невольно поднял руку, чтоб протереть глаза. Рука была цела. Но доктор закричал:

— Не двигайтесь, вам нельзя. Но с вами беды большой нет. Мы поправимся. Ничего важного. Помяло вас немного. Но это, оказывается, лучше, чем из-под трамвая. Порошочки давали? — обратился он к сестре.

Я видел, что все больные, — нас было в палате человек тридцать, — обернулись ко мне. Иные приветали на локте.

— С добрым утром! — говорили мне. И все улыбались.

— Сестрица, что со мной? — спросил я, когда ушел доктор. — Как все было? Я буду жить?

— Живем, чудак, — сказал мне сосед. — Мы-то думали — француз.

— Я спрятала номерок — сами прочтете, я не была, не видела.

И вот я читал в старом номере местной газеты:

УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ В ЦИРКЕ.

Вчера на арене цирка разыгралась потрясающая драма.

Гастролирующий в нашем городе артист, укротитель Миронье, показывал свой номер — борьбы человека с удавом. Номер состоял в том, что чудовищная змея обви-

вала кольцами укротителя, но Миронье удачными маневрами выпутывался из ее объятий. Вчера, когда змея третий раз обвилась вокруг тела артиста, последний почему-то замешкался, и чудовище сдавило несчастного артиста в сво-

их железных объятиях. Стоявший рядом с револьвером наготове ассистент артиста выпалил и разнес в куски голову чудовища разрывной пулей. В цирке возникла необычайная паника. Судорожные движения змеи, однако, продолжали свое дело. Сбежавшиеся служителя и товарищи пострадавшего при участии пожарных освободили несчастного артиста при помощи топора, оказавшегося у дежурного

пожарного. В бессознательном состоянии Миронье был доставлен в больницу. У пострадавшего оказались поломанными три ребра и перелом левой ключицы. Опасаются осложнений от внутреннего кровоизлияния.

Думаем, что настоящий случай откроет глаза любителям „сильных померов“, которые приближают наш цирк ко временам „развратного Рима“.

„Три ребра и ключица! — подумал я. — Вот счастье-то!“ И я смело пошевелил ногами. Ноги работали исправно.

Я спросил, какой день. Оказалось, что я третьи сутки в больнице.

XII

На другой день утром я уж из коридора слышал трескотню Голуа. Он болтал и шел за сестрой. Она ничего не понимала и смеялась.

— Ах, месье Мирон! — кричал с порога Голуа. — Какое несчастье! Но вы живы, и это все. Жизнь — это все. Но Король, Король! Короля нет. Я разможил ему голову. Такой красавец! И вы знаете, его разрубили на куски, — вы бы плакали (я уверен), как и я, над этими кусками. Они еще долго жили, они выжили и содрогались очень долго, — я прямо не смог смотреть. Это ужасно! И это одно ваше неосторожное движение. Да, да! Это ваша халатность. Вы манкировали последнее время. Я ж вам крикнул: „Манипулè!“ Еще было время. Вы понимаете, что я потерял? Ведь просто продать в любой зоологический сад — и это уж капитал. Такого экземпляра не было ни-

где. Мне в Берлине предлагали десятки тысяч марок. Я доверил вам это сокровище. Ах, Мирон, Мирон!

Голуа схватился за голову и в тоске шатал ее из стороны в сторону.

— Но, может быть, вы поправитесь. Может быть, вы мне отработаете, не волнуйтесь, месье Мирон, вам вредно, не правда ли? Нет, месье, об этом подумаем. Но это десятки тысяч. Я буквально разорен. Я буду по дворам ходить с моими собаками.

Голуа встал и с минуту сокрушенно тряс головой и наконец сказал убитым голосом:

— Адью!

Мне теперь вспомнилась та ночь, когда я не мог остановиться в игре, не мог уйти во-время от стола. И здесь — ведь я назначил себе до двух тысяч, и вот я не мог во-время бросить эту проклятую работу. Если б был со мной Осип, говорил бы мне почаще: „валиком, не рвись“...

На дворе была весна.

Я видел в окно, как просвечивало солнце свежее зеленые листики в палисаднике под окном. Я был бы теперь дома, — я хоть день погулял бы, побегал с Наташкой, с Сережкой, а потом бы пошел и заявил властям. Пусть бы судили. Теперь я калека.

Я позвал сестру и попросил бумаги, чтоб написать письмо. Писать мне самому не позволили, и я продиктовал письмо.

„Дорогой друг Осип!

Меня раздавил удав. Знаешь уж, наверно, из газет. Я в больнице и поправляюсь. Кланяюсь всем“.

И больше я не мог ничего сказать. Мне жалко стало своих детей и жену, что они увидят меня калекой и что жена бу-

дет корить себя, что это все из-за нее, когда я сам же довел себя до этого.

Я знал, что мне еще долго лежать в гипсовых лубках. А Голуа ходил ко мне и все надоедал, что он пострадал из-за меня, что ему не с кем работать на манеже и что я его разорил.

И вдруг как-то, после обхода, доктор снова подошел ко мне.

— Простите, Корольков,— сказал доктор.— Не мое дело вмешиваться. Но я понимаю, что говорит вам француз. Он — ваш хозяин? Так ведь выходит?

— Да, как будто,— сказал я.

— Но ведь львиную долю получал он, а вы были на жалованьи? Так это он еще обвиняет вас, что вы его разорили? Да что ж вы не понимаете, что ли, ничего? Вы же не будете больше работать в цирке, вы потеряли все сто процентов цирковой карьеры. Он, он вам должен возместить, а не вы ему отрабатывать. Это же возмутительно. У вас есть семья?

Доктор весь покраснел даже. Все больные слушали; никто не болтал. Все глядели на меня.

— У меня двое детей,— сказал я.

— Довольно, — сказал доктор. — Дальше я знаю, что делать.

Доктор ушел, и я видел по походке, что прямо сейчас возьмется за дело.

Я не успел его остановить. Я боялся, что если подымется дело, то всплывет раньше времени, что я не Корольков, что я обманул местком, что и Осип обманщик, что я скрывшийся растратчик, кассир Никонов. Власти примутся за меня, увидят — дело темное, а пока суд да дело, Голуа и улизнет, все равно ничего не заплатит. Я мучился весь день от этой мысли. Главное, я боялся подвести Осипа. Я не дотерпел до

утра и поздно ночью просил вызвать ко мне доктора. Я сказал, что мне плохо.

Это было верно: я так ворочался от тоски, что разбередил себе все мои ломаные кости.

Доктор пришел сердитый и строгий. Он поправил очки и наклонился ко мне.

— Ну, в чем дело? — Он говорил шопотом, чтоб не разбудить больных.

Я стал говорить. Сначала сбивался, запинался. Мой шопот срывался, я говорил, говорил и сказал доктору все, все с самого начала, как со мной все это случилось и про карты и про растрату. Доктор ни разу не перебил меня.

— Все? — спросил доктор, когда я замолчал.

— Все.

— Ну вот что, Петр Никифорович, — меня первый раз за это время пазывали моим настоящим именем, — все это, Петр Никифорович, уладится.

Он говорил таким голосом, как говорят со знакомыми.

— Завтра я пришлю к вам моего приятеля, он адвокат.

XIII

Через три дня я узнал, что Голуа обязали подпиской о несъезде из города. Адвокат предъявил ему от моего имени иск в три тысячи рублей.

Я уже мог сидеть на постели. И вот раз сижу я на постели и жду, что ко мне придет следователь, чтоб снять с меня показания: я уж заявил, что я кассир Никонов, которого ищут. Но мне было легко. Я скорее хотел уж снять с себя то, что вот уж почти полгода висело над моей головой.

Мне сказали, что меня хотят видеть. Я поправился на кровати и сказал:

— Просите, пожалуйста.

Я услышал мелкие, звонкие шаги по плиточному коридору. У меня—я не понял почему—заколотилось сердце.

Вошла жена; за руку она гела Наташку. Я видел, что она ищет глазами по койкам и не узнает меня. А у меня сдавило грудь, и не было голосу крикнуть, позвать их.

И вдруг Наташка со всех ног бросилась ко мне.

— Папа! Палочка!

Жена меня не узнала, потому что я был сед, сед как лунь, как видите.

Это Осип, Осип через школу нашел моих, и он понемногу, „валиком“, рассказал им все, как со мной случилось и где я.

Потом меня судили, приговорили к году условно. Голуа уплатил мне две тысячи. Да, а вот крив на правый бок я так и остался.

СОДЕРЖАНИЕ



ПРО СЛОНА 5



ПРО ВОЛКА 17



ПРО ОБЕЗЬЯНКУ 37



ПУДЯ 53



БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА 69



МЕТЕЛЬ 81



УДАВ 95

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА, Б. ЧЕРКАССКИЙ ПЕР., Д. 5

Н О В Ы Е К Н И Г И

Е. БОРОНИНА. Звериный доктор

Изд. 2-е. Печатается

ДИКИЕ МАЛЫШИ. Рассказы о животных

Стр. 151. Ц. 3 р. 50 к. в пер.

Б. ЗАМЧАЛОВ и О. ПЕРОВСКАЯ. Остров в степи

Стр. 166. Ц. 4 р. в пер.

В. КАВЕРИН. Страус Фома

Изд. 2-е. Стр. 32. Ц. 40 к.

Р. КИППЛИНГ. Рикки-Тикки-Тави

Изд. 2-е. Стр. 64. Ц. 50 к.

Д. МАМИН-СИБИРЯК. Рассказы

Печатается

А. ЧЕХОВ. Каштанка и др. рассказы

Печатается

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ КОГИЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА, Б. ЧЕРКАССКИЙ ПЕР., Д. 5

Н О В Ы Е К Н И Г И

В. БИАНКИ. На великом морском пути
Печатается

В. ДЖЕМС. Дымка
Изд. 4-е. Печатается

Р. КИПЛИНГ. Маугли
Из книги Джунглий
Стр. 160. Ц. 5 р. 65 к. в пер.

П. ПЛАВИЛЬЩИКОВ. Оранг
Изд. 2-е. Печатается

О. ПЕРОВСКАЯ. Ребята и зверята
Изд. 2-е. Стр. 180. Ц. 3 р. 50 к.

Г. РУМЯНЦЕВА. Мои знакомые
Рассказы о животных Московского зоопарка
Печатается

В. ЧАПЛИНА. Площадка молодняка в зоопарке
Печатается

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ КОГИЗА





Цена 2 р. 90 к.